

Г. П. ФЕДОТОВЪ

СВЯТОЙ
ФИЛИППЪ
МИТРОПОЛИТЪ
МОСКОВСКІЙ



Г. П. ФЕДОТОВ

СВЯТОЙ ФИЛИПП
МИТРОПОЛИТ
МОСКОВСКИЙ

Москва, 1991 г.

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОТОВ

СВЯТОЙ ФИЛИПП МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ

Технический редактор А. П. Пильщиков
Корректор В. А. Давлетова

В книге замечательного русского религиозного философа Георгия Петровича Федотова (1886 — 1951) перед читателем предстает не только житие Великого русского Святого, но и раскрываются трагические страницы русской истории, изображающие столкновение царской власти с Церковью и странным образом сближающие опричнину с современностью.

Г. П. Федотов. Святой Филипп Митрополит Московский.
Тех. редактор Пильщиков А. П.
Корректор Давлетова В. А.

ISBN 5-87382-001-5

МП "СТРИЖЕВ — ЦЕНТР"

Печатается по тексту YMCA PRESS Париж 1928 г.

Русскую церковь часто упрекали в небрежении общественными задачами христианской культуры. Время от времени слышатся и из ее среды голоса, утверждающие исключительность личного пути: личного подвига, личного спасения. Всякая постановка общественных целей для православной церкви отвергается, как католический соблазн, отталкиваясь от которого, приходят к своеобразному аскетическому протестантизму: царство Божие и царство кесарево остаются навеки разделенными. Эта духовная, метафизическая разделенность не мешает благословию царства кесаря, и тогда уже — именно в силу религиозной отрешенности — благословение не знает ограничений. Благословляется всякая власть, все деяния этой власти. Вопрос о правде — общественной правде — не поднимается, считается не подлежащим церковному суду. Покорность неправедной власти может проповедоваться даже, как аскетический подвиг.

Для историка ясно, что в этих широко распространенных — по крайней мере, в недавнем прошлом, — настроениях мы имеем дело с сочетанием аскетической традиции древне-христианского Востока и последствий протестантской по своим тенденциям церковной реформы Петра. Петровская реформа искажила надолго общественно-национальное лицо русского православия, оставив в неприкосновенности его внутреннюю, духовную жизнь. Святой старец и покорный иерарх сделали двумя полюсами церковной жизни.

Не всегда было так. В древней Руси отношения между церковью и государством складывались по-иному. Конечно, православная церковь — и в этом ее великое преимущество перед западной — никогда не протягивала руку к власти, не хваталась за меч кесаря. Но, в силу кровной сращен-

ности всего общественного и церковного строя жизни, церковь была вовлечена в дело мирского устройства. Ее не властный, но авторитетный голос выслушивался во всяком важном деле государевом. Царь советовался не только со своими боярами, но и с отцом своим и богомольцем — митрополитом или патриархом. "Освященный собор", т. е. собор духовенства, был неременной, органической частью земского собора, наряду со служилыми и тяглыми земскими людьми. Восходя еще дальше в прошлое, в удельные времена, мы встречаем митрополитов-политиков, указующих мелким московским вотчинникам державный путь собирания и строения Руси, встречаем даже фактических правителей княжества Московского, каким был св. Алексей.

Однако все эти факты — хорошо известные — рисуют только одну сторону церковно-государственных отношений. В своей односторонности, они способны даже создать впечатление использования церкви на службе государству, ее почетного порабощения. Мы хотим убедиться в том, что церковь сохранила свою независимость, неподкупность своего морального суда в этом трудном деле государственного служения. Сочетаясь с миром, оставалась ли она выше мира — хранительницей иных законов, зеркалом иной, небесной правды?

Будем остерегаться двух ошибок: чрезмерно идеализировать прошлое — и рисовать его сплошь в черном свете. В прошлом, как и в настоящем, шла извечная борьба добрых и темных сил, правды и кривды, но, как и в настоящем, слабость, малодушие преобладали и над добром и над злом. Можно отметить, что примеры мужественных уроков церкви государству, частые в удельно-вечевую эпоху русской истории, становятся реже в столетия московского единодержавия. Церкви легко было учить миролюбию и верности крестному слову буйных, но слабых князей, мало связанных с землей и раздираемых взаимными усобицами. Но великий князь, а позже царь московский стал "грозным" государем, не любившим "встреч" и не терпевшим противления своей воле. И голос церкви во дворце государевом стал тише, приглушеннее. Не обличая, не грозя, церковь, в лице митрополита и патриарха, печаловалась за опальных, стараясь смягчать жестокость государственного разума...

Но один раз церковь мужественно возвысила свой голос

и перед лицом Грозного царя — в самый трагический момент русской истории. В годы кровавой революции, произведенной верховной властью, митрополит Филипп восстал против тирана и заплатил жизнью за безбоязненное исповедание правды. Святой Филипп стал мучеником — не за веру Христову, защитником которой мнил себя и царь Иван Васильевич, но за Христову правду, оскорбляемую царем. Он был почти одинок в своем протесте среди современных ему иерархов, одинок и на фоне целых веков. Но его голос спас молчание многих; его подвига достаточно, чтобы выявить для нас новую черту в лице православия. Церковь, канонизировавшая святого, взяла на себя его подвиг, столь редкий — быть может, даже единственный — вплоть до грозных событий наших дней. Подвиг митрополита Филиппа дает настоящий смысл и служению его сопастырей на московской кафедре Успения Богородицы: св. Алексия и св. Гермогена. Один святитель отдал труд всей жизни на укрепление государства московского, другой самую жизнь, обороняя его от внешних врагов. Св. Филипп отдал жизнь в борьбе с этим самым государством, в лице царя, показав, что и оно должно подчиниться высшему началу жизни. В свете подвига Филиппова мы понимаем, что не московскому великодержавию служили русские святые, а тому Христову свету, который светился в царстве, — и лишь до тех пор, пока этот свет светился.

Подходя так к образу и делу св. Филиппа, мы убеждены, что не совершаем над ними тенденциозного насилия. Уже древнее житие Филиппа построено на этом плане: обличитель Грозного затеняет в нем соловецкого инока. И для древне-русского церковного сознания св. Филипп жив, как митрополит Московский, а не как подвижник с Белого моря. Черты его внутреннего духовного облика даны нам чрезвычайно скупой, и нельзя не пожалеть об этом. Они нам все же даны — настолько, что позволяют видеть тот личный, иноческий путь, на котором ярко вычерчивается общественное его служение. Но все же св. Филипп принадлежит к тем деятелям, личность которых целиком выражена для нас в их подвиге. Вот почему наш биографический опыт будет опытом историка, а не агиографа. Мы постараемся возместить скудость личных черт биографии, вставив ее в историческую оправу. Знакомство с эпохой может про-

лить свет и на смысл личного подвига. Митрополит Филипп принадлежит столько же истории русской церкви, как и русского государства. Недаром Карамзин видел в нем "героя", даже "знаменитейшего из героев древней и новой истории". Мы увидим только, что, как истинный святой, он был героем смиренным, не искавшим подвига, но и не уклонявшимся от него, когда мученическое бремя власти упало на его плечи, привыкшие к иным трудам.

ГЛАВА I

В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ

Св. Филипп родился 5 июня 1507 г. Его мирское имя было Федор Степанович Колычов. По рождению он принадлежал к среднему слою московского, не княжеского боярства старого корня, предки которого издавна служили князьям московским. Захарьины (Романовы), Шереметевы, Колычовы вели свои роды от общего предка. Веками они строили, вместе с потомками Калиты, государство московское и, потеснившись перед удельными князьями, переезжавшими на московскую службу со времени Ивана III, продолжали служить своим государям. Дед Федора Иван Андреевич Колычов-Лобанов при Иване III ездил послом в Крым, бывал наместником в Новгороде, нес и ратную службу: ходил против шведов и ливонцев и даже убит был (в 1502 г.) при нападении ливонцев на Ивангород. Сын его, боярин Степан Иванович, по прозванию Стенстур, отец Федора, был назначен дядькой (воспитателем) великого князя Юрия Васильевича, брата Грозного, а дядя Федора Иван "ведал думу" князя Андрея Ивановича Старицкого, удельного князя из московского дома, — брата Василия III. Служа ему, он все еще служит роду князей московских, и только распря между московским правительством и удельными родственниками поставила его, как мы увидим, в ряды противников Москвы.

Эта семейно-сословная справка не кажется излишней в биографическом очерке митрополита Филиппа. Судьба Колычовых не раз трагически сплеталась с его собственной судьбой. Опала Колычовых совпадает с уходом из мира молодого Федора. Низложение митрополита сопровождается казнями Колычовых. При скудости биографических сведений, иным представлялось возможным ставить в связь оппозицию Филиппа царю с оппозицией гонимого боярства. Мы увидим, что в такой постановке вопроса есть коренная ошибка. Но даже и не считая дело св. Филиппа политичес-

ским делом, можно повторить замечание Иловайского, что, быть может, боярское происхождение не было случайностью в биографии святого.

Мы почти ничего не знаем о первых тридцати годах жизни Федора Колычова. Мать его Варвара окончила свои дни в монастыре, но постриглась она уже после своего сына. Ее родовые вотчины лежали в новгородских землях, как, впрочем, и многих из Колычовых. Кроме Федора, у нее было еще трое младших сыновей. Федор рано научился грамоте. Он получил и необходимое для сына боярского воинское воспитание. Посылали его "со отроки на конях ездити". Житие св. Филиппа уверяет, что он "о том не брежаше", подчеркивает отчужденность юноши от игр и обычаев сверстников, любовь к чтению, к житиям "досточудных мужей". Все же оно отмечает, что юноша "вразумлялся и воинской храбрости". Молодой сын боярский не мог не нести государевой службы. Однако житие связывает поступление его на службу лишь с вокняжением Ивана IV. Впрочем, здесь перед нами одна из многочисленных неточностей этого памятника. Трудно думать, что до 26 лет юноша не нес никакой службы. Может быть, указания жития относятся к дворцовой службе Федора. До того он мог нести службу ратную, ходить в походы, но об этом не сохранилось никаких свидетельств. Неизвестно также, действительно ли Федор попал во дворец лишь после смерти великого князя Василия. Его отец и дядя были близки к московскому двору, и вряд ли стоило бы ждать так долго, чтобы устроить молодого Колычова на одну из почетных и многообещающих придворных должностей. Какова могла быть эта придворная служба Федора?

Московский двор совсем недавно, при Иване III, после брака с византийской царевной, порвал с патриархальной простотой удельного двора, чтобы сменить его на пышность, импонирующую и иностранным послам, впервые появившимся в Москве. Расширился состав придворных чинов. При Иване III к старым боярам, окольниковым, дворецким присоединились казначей, постельничий и конюший. При Василии III мы встречаем сверх того оружничего, ловчего, крайчего, стряпчего, рынд, подрынд и ясельничих. Мы и должны представлять себе Федора подвигающимся по лестнице этих придворных должностей, приглядывающимся к дворцовым порядкам, к великому князю и к людям, его окружающим. Если юноша был одарен чуткой совестью, он должен был оценивать и судить этот мир. Постараемся же восстановить те впечатления, под которыми создавался его характер и его взгляды. Тридцатилетний пробел в его биографии дает нам достаточно досуга и места, чтобы заполнить его беглым очерком политических и цер-

ковных отношений, как они складывались в Москве к началу XVI века. Мы представляем эти факты в том освещении, в котором они должны были являться и, действительно, являлись для наиболее чутких — морально и религиозно — современников из боярской и церковной среды.

Княжение Василия III не принадлежит к самым блестящим или трагически напряженным страницам русской истории. Но оно во всех отношениях достойно занимает свое место между княжениями обоих Грозных Иванов — деда и внука. Оно встает перед нами со страниц летописей, как время напряженной борьбы и труда, растущей мощи, подготовки свершений. Зреет русское царство с присущими ему потенциями Империи. Московское великое княжество перерождается в Русию. Именно в княжение Василия III псковский монах Филофей, один из первых московских публицистов, выражает свои взгляды на Москву, как на преемницу Византии и носительницу православного царства — третий Рим. "Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертого не быть".

Читая историков этого времени, поражаешься количеством затраченных усилий, кровавого пота, которым политы все окраины русской земли. Война на рубежах почти не прекращается: с Казанью, Крымом, Литвой. Тяжелые неудачи (под Казанью, под Оршей) чередуются со славными успехами: Смоленск навсегда возвращается в состав государства русского. Видя, какую ценой покупаются успехи, понимаешь, что постройка московского царства должна получить суровый стиль: закрепощения, службы и тягла.

На пути к новой национальной цели стоят последние уделы, — вернее, тень былых княжеств и вольных городов: Рязань, Псков и др. Они имеют за собой старое право — следовательно, нравственную правду для старинного русского человека. Москва не стеснялась, во имя национального интереса, попирать сознательно эту правду. Что московскому княжескому дому не было чуждо сознание национального, общерусского дела, об этом говорят хотя бы записанные у Татищева слова в князя Ивана III митрополиту, просившему об освобождении его брата, князя Андрея: "Жаль мне очень брата, но освободить его не могу... Когда я умру, то он будет искать великого княжения под внуком моим, и если сам не добудет, то смутит детей моих, и станут они воевать друг с другом, татары будут русскую землю губить, жечь и пленить, и дань опять налагать, и кровь христианская опять будет литься, как прежде, и все мои труды останутся напрасны, и вы будете рабами татар".

И вот ради национального дела приносились тягчайшие жертвы — не только трудом и кровью, но и совестью. Ка-

жется, будто уроки итальянских дипломатов из школы Макиавелли были усвоены в Москве, вместе с появлением Феррарской дукессы, воспитанной в Риме (Софии), вместе с западными дипломатическими посольствами.

И в тон этим политическим урокам западного Ренессанса вторят угодливые голоса церковной партии "иосифлян" (учеников Иосифа Волоцкого), оправдывающие "богопремудростное коварство" государя.

Как применялись на практике эти уроки "богопремудростного коварства", показывает всего лучше судьба уделов. Последний великий князь Рязанский Иван был посажен в Москве в темницу, откуда во время нашествия на Москву крымского хана Махмет-Гирея, бежал в Литву. В московской же темнице скончался князь Новгород-Северский Василий Иванович Шемячич, внук Шемяки. Псков потерял свои вольности в 1510 г. не в результате восстания или политического столкновения с Москвой. Он был захвачен врасплох, вероломно, в стиле Цезаря Борджиа. Поучительно сравнить правовую и нравственную обоснованность похода Ивана III на Новгород с псковским переворотом его сына. Иван долго медлил, долго терпел новгородские обиды. Национальная измена Новгорода (союз с Литвой) давала ему в 1471 г. прекрасный повод для выступления. С Московским князем было национальное сознание Руси. Василий III обещал псковичам свой государев суд по жалобам их на его наместника, вызвал в Новгород бояр и лучших людей псковских, в качестве истцов, и неожиданно приказал арестовать их. Бояре московские цинично заявили псковичам: "Вы пойманы Богом и в князем Василием Ивановичем всея Руси". Лишенный своих вождей, Псков не сопротивлялся. Коленопреклоненно встретил своего "завоевателя" ("Псков взявши без брани"), со слезами спустил вечевой колокол и проводил в Москву своих изгнанников. Затем беззащитный и верный русский город был сознательно отдан на разграбление московских воевод и дьяков.

В деле Шемячича вероломство московской политики компрометирует и достоинство церкви. Этот пограничный с Литвой князь, верный Москве, вызывал ее подозрения. Подозрения эти питал при дворе великого князя исконный соперник Шемяки и сосед, князь Стародубский. Будучи вызван в Москву для объяснений, Шемячич сумел оправдаться во взведенных на него обвинениях. Но когда его вызвали вторично, он, обеспокоенный, потребовал гарантий, "опасной грамоты". Такие "опасные грамоты", обещающие ему беспрепятственное возвращение, были выданы Василием и митрополитом Даниилом. Несмотря на это, Шемячич был арестован в Москве и заключен в одну из башен

Кремля, где и умер. Рассказывают, что во время его пребывания в Москве, по улицам ходил какой-то юродивый с метлой, приговаривая: "Государева земля еще не совсем очищена: теперь пора вымести последний сор". По-видимому, народное сознание поддерживало московского князя в деле очищения удельного "сора". Но те, кто стоял за кулисами московской политики и сохранил еще старинные предубеждения о святости крестоцелования, не могли не быть оскорблены, особенно соучастием в этом нечистом деле митрополита Даниила. Владыка был посвящен в заговор против Северского князя и сознательно приложил к нему свою руку. Впоследствии он имел даже смелость оправдывать свой поступок в беседе с боярином Берсенем: "Бог его (в князя) избавил от запазушного врага". — "Кто это запазушный враг?" — "Шемячич". — "А сам позабыл, прибавляет Берсень, как Шемячичу грамоту писал за своею подписью и печатью, клялся ему образом Пречистыя и Чудотворца, да на свою душу".

Не только удельные князья гибли жертвой московской политики. Одинаковая участь с Шемячичем и Рязанским князем постигла и Димитрия, внука Ивана III, законного наследника престола, впервые венчанного в Москве по торжественному византийскому чину, которым впоследствии венчали уже на царство Ивана Грозного. Борьба придворных партий, победа второй супруги государя, знаменитой Софьи Палеолог, привела 8-летнего князя Димитрия в кремлевскую темницу. Он просто должен был уступить место счастливому сопернику Василию, сыну гречанки. Юный узник, подобно императору Иоанну Антоновичу, долго томился в кремлевской башне, и, хотя известия о его насильственной смерти, по-видимому, несправедливы, он умер "в нуже", говоря словами летописца (в 1509 г.), бросая мрачную тень на блеск московского двора. Василий III не совершил над собой обряда венчания — не мог совершить, не вызывая в памяти и совести народной того, кому церковный обряд уже дал печать царственного посвящения.

Торжествуя над своими врагами, уничтожая удельный порядок, московский князь ломал те патриархальные традиции своей власти и своего ближайшего окружения, которые казались теперь несовместимыми с самодержавием. Место былой простоты заняла пышность придворного церемониала. Старые бояре, строившие государство московское и горой стоявшие за своего князя, не стеснялись подчас перечить его воле, считали участие в совете княжеском своим правом и устоем правительственного здания. Теперь они осуждены уступать место придворным любимцам. Василий с ними горд и не общителен. Он способен прогнать

из своей думы резко возражавшего ему советчика: "Пошел, смерд, вон, ты мне не надобен". — "Государь наш упрям, жалуется один из опальных думных людей, и встречи против себя не любит: кто ему навстречу говорит, он на того ополчается; а отец его против себя встречу любил и тех жаловал, которые против его говорили". — "Государь наш запершись сам-третей у постели всякие дела делает". И в этих отступлениях от старины готовы были видеть опасную для государства ломку. "Которая земля переставливает обычай свои, и та земля недолго стоит, и здесь у нас старые обычай князь великий переменял, ино на нас которого добра части?" Так говорит тот же Берсень, а дьяк Жареный ему вторит, указывая уже на личный характер великого князя: "А государь у нас пришелся жестокий и немилостивый". Последнюю черту отметил и иноземный свидетель Максим Грек, для которого Русь стала второй родиной-мачехой: "Пойдет государь к церкви, вдовицы плачут и за ним идут, и они (свита государева) их бьют". Такие речи велись под шумок в московских теремах и мы не знаем, конечно, насколько они выражали общественное мнение. Но, принимая во внимание, что они могли стоять неосторожным языком (Жареному), а то и головы (Берсеню), нужно ли удивляться, что они доходят до нас так глухо?

Цесарский (германский) посол Герберштейн, дважды приезжавший в Москву при Василии III, говорит, что московский государь властью своей превосходит всех монархов на свете. "Он пользуется своей властью по отношению к духовным лицам, как и к светским, свободно и по своей воле распоряжается жизнью и имуществом всех; из советников его никто не пользуется таким авторитетом, чтобы смел не соглашаться с ним или в каком-либо деле противоречить ему". Герберштейн поражен теократическим характером этой власти. Она выражается в подслушанных им словечках, пословицах, не отделяющих, как будто личность государя от Бога. "Воля государя — воля Божия", "про то знает Бог и великий государь". По его словам, русские даже называют великого князя "ключником и спальником Божиим". Иноземец правильно усмотрел юридическую неограниченность княжеской (даже не царской) власти. Но от него, да еще в атмосфере придворной лести, не могла не ускользнуть ее связанность моральным и религиозным законом, нарушения которого — именно при теократическом идеале власти — должны были восприниматься болезненно. Все же и в "Описании Московии" Герберштейна отразился резкий перелом общественных отношений, пережитый в Москве в княжение Ивана III и Василия III.

Нам остается коснуться церковной стороны этого пере-

лома, которая не могла не затронуть будущего инок и святого. Едва ли, впрочем, кто-нибудь в Москве XVI века мог остаться чуждым церковным интересам и злобам дня. В сущности, все внутренние события, вся борьба партий и идей, заполняющих собою Василиево княжение, выражались в борьбе вокруг церковных вопросов. Доживала еще ересь жидовствующих, не добытых казнями и преследованиями времен Ивана III. Это странное движение, отголосок западных реформационных брожений, в обеих своих формах — чистого иудаизма и религиозного рационализма и вольнодумства — заразило, главным образом, верхи московского общества и церкви. Оно имело своих приверженцев при дворе, в семействе великокняжеском (Елена, невестка Ивана III) и даже на митрополичьей кафедре, в лице Зосимы, сведенного с митрополии в 1494 г. "своя ради немощи". По отношению к ереси — вернее, к мерам борьбы с ней — русская церковь разделилась. Иосиф, игумен Волоколамский, суровый ревнитель, требовал казней, а совесть князя Ивана Васильевича смущалась перед пролитием крови в делах веры. Иосиф настоял на соборе 1504 г. и добился осуждения еретиков, многие из которых были сожжены тогда в Москве и Новгороде. Княгиня Елена скончалась в темнице. Не довольствуясь казнями упорствующих, Иосиф боролся против прощения и возвращения в церковь раскаявшихся. В искренность их раскаяния он не верил, и, считая их не просто еретиками, а отступниками от христианства, напоминал о правилах древней церкви, по которым отступники осуждаются на пожизненное покаяние. Помимо многочисленных посланий, Иосиф составил обширный труд против еретиков, под названием "Просветитель". Когда жидовство, оправившись от гонений, начало снова подымать голову, Иосиф пишет Василию III слезное послание (1511 — 1512 гг.). "Ради Бога и пречистой Богородицы попекись и промысли о божественных церквах и православной вере, и об нас нищих твоих и убогих... Как прежде, боговенчаный владыко, ты поревновал благочестивому князю Константину и вместе с отцом своим до конца низложил скверных новгородских еретиков и отступников: так и теперь, если ты, государь, не позаботишься и не подвигнешься, чтобы подавить их темное еретическое учение, то придется погибнуть от него всему православному христианству. Отец твой, по проклятию еретиков, Захарии чернца и Дионисия тоже, велел заключить их в темницу, и они там скончались, и не прельстили никого из православных. А которые начали каяться и отец твой покаянию их поверил, те много зла сотворили и многих христиан увлекли в жидовство. Так невозможно никому той беды утолить, кроме те-

бя, государя и самодержца всей русской земли". И в. князь поревновал: "повелел всех еретиков побросать в темницу и держать там неисходно до конца их жизни — и слыша о том, отец игумен воздал славу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу".

Уже из приведенного письма Иосифа видна высокая оценка им великокняжеской власти. "Божественный князь, самодержец", он, по смыслу всего письма, является наследником царства и дела Константина. Преданность идее самодержавия составляет отличие всех учеников и последователей Иосифа — всей партии иосифлян, которая при Василии III получает преобладающее значение. Религиозный консерватизм, преданность власти соединяется с консерватизмом бытовым и социальным. Иосифляне — горячие защитники церковных имений, права монастырей владеть населенными землями, на которые в начале XVI века ведется натиск со всех сторон: со стороны аскетически настроенных представителей монашества, боярских владельческих кругов и государственной власти, помышляющей о секуляризации монастырских земель.

Вопрос о монастырских имуществах был поднят на соборе 1503 г. "заволжскими старцами", — так назывались пустынножители белозерских и других северных скитов. Нил Сорский, глава этой партии, начал говорить, "чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням, а кормили бы себя рукоделием". Его отношение к этому вопросу было строго аскетическое. Заволжские старцы были "нестяжатели", противники хозяйственного роста монастырей, в котором видели источник обмирщения и социальной неправды (притеснения крестьян). Своей высокой духовной настроенностью заволжские старцы далеко превосходили иосифлян. Сам св. Нил Сорский в своих подвижнических сочинениях оставил нам — едва ли не единственный в древней Руси — школу духовного делания, "умной молитвы", т. е. чистого молитвенного созерцания.

И вот эти-то заволжские старцы выступили против казней еретиков, отстаивая, если не свободу совести, то милосердное отношение к кающимся. Соглашаясь, что "некающихся еретиков и непокоряющихся велено заточать", они доказывали, что "кающихся еретиков и проклинающих свою ересь, церковь Божия приемлет с отверстыми объятиями". Они утверждали даже, что еретиков не следует разыскивать, если они содержат свою ересь в тайне и не распространяют между православными. Свое снисхождение к еретикам старцы простерли до того, что давали им убежище в своих скитах, и противники обвиняли некоторых из них в прямом сочувствии ереси.

Боярские круги, ненавидевшие иосифлян — кн. Курбский не называет их иначе, как "презлыми и прелукавыми", — поддерживали заволжских старцев в вопросах о церковных имуществвах и в отношении к еретикам. Конечно, их сочувствие "нестяжателям" вытекало из своекорыстного мотива зависти к привелегированным вотчинникам, а сочувствие гонимым еретикам часто основывалось на вольнодумстве. Впрочем, эти две оппозиционные линии — аскетическая и боярская — иногда причудливо переплетаются в тогдашней публицистике. В князе-иноке Вассиане Косом (Патрикееве), знатном боярине, насильственно постриженном при Иване III, трудно отличить, что в его борьбе с иосифлянами от духа "нестяжательства" и что от боярской нелюбви к богатым монахам. Если боярская партия прикрывалась "нестяжательством", то сторонники самодержавия опирались на иосифлян: политические и социальные конфликты сплетались с религиозными в один узел, сообщающей этой эпохе, в ее духовной жизни, поразительное напряжение и богатство направлений, свойственные великим историческим переломам.

Иосифлянство победило к концу княжения Василия. Выражением этой победы было соборное осуждение и ссылка Вассиана и связанного с ним личными отношениями Максима Грека (1531). Торжествовала не только партия церковных охранителей, но и новая (на Руси) идея самодержавия.

Самодержавие это, сообразно стилю всей древне-русской жизни, хотело опираться на исконное, стародавнее право. Василий III на смертном одре мог говорить своим боярам: "Ведаете сами, от великого князя Владимира Киевского ведется наше государство Владимирское и Новгородское и Московское; мы вам государи прирожденные, а вы наши извечные бояре". Это не мешало как раз Василию производить коренную ломку не только в отношениях государя к боярству, но и в отношениях его к церкви.

Тот же наблюдательный иностранец, записки которого о Московии мы уже цитировали, свидетельствует: "Прежде митрополиты и архиепископы избирались здесь собором всех архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов; отыскивали в монастырях и пустынях мужа наиболее святой жизни и избирали. А нынешний государь, говорят, обыкновенно призывает к себе известных ему лиц и сам из числа их избирает одного по своему усмотрению". И это наблюдение Герберштейна подтверждается историками русской церкви. При Василии были поставлены на кафедру два митрополита: Варлаам (1511) и Даниил (1521). Летописи не упоминают об избрании Варлаама; говорят только, что

27 июля он возведен на митрополичий двор и назначен митрополитом, а 3 августа поставлен на митрополию; только при этом последнем торжественном акте присутствуют епископы. Но, как бы ни ставился Варлаам, не подлежит сомнению, что сведен он был с кафедры насильственно. Летопись свидетельствует, что он "остави митрополию и отыде на Симоново (т. е. в Симонов монастырь), а с Симонова сослан в Вологодский уезд на Камени" (Каменный монастырь на Кубенском озере). Герберштейн пишет, что причиной удаления митрополита было клятвопреступление князя в известном деле Шемячича, в связи с "другими делами, которые казались противными достоинству и власти митрополита". Он сам отдал князю свой пастырский посох, а князь, заковав его будто бы в кандалы, отправил в монастырь. Так как Шемячич был схвачен два года спустя после удаления Варлаама, то рассказ Герберштейна не может быть точным. Если дело Шемячича было одной из причин опалы на митрополита, то, значит, он не пожелал взять на свою совесть грех, которого от него требовали, и на который пошел его покладистый пресмник.

В лице Даниила, иосифлянина, великий князь приобрел иерарха себе по вкусу: блестящего проповедника, писателя, строгого к еретикам, но снисходительного к слабостям государя. Герберштейн передает самые неслестные слухи, которые ходили в Москве. Владыка был еще в молодых годах, дороден и красив собой, с румяным лицом. "Чтобы не казаться прилежащим более чреву, чем постам, бдениям и молитвам, он всякий раз перед богослужением окуривал себе лицо серным дымом, чтобы быть бледнее". Это из области слухов и сплетен. Замечательно все же, что св. Иосиф Волоцкий, намечая себе преемника по управлению обителью, назвал великому князю десять имен — среди них не было Даниила. Даниил тем не менее был избран игуменом Иосифова монастыря, откуда князь возвел его на Московскую митрополию.

Уже известный нам Берсень жалуется Максиму Греку: "Не ведаю, митрополит ли он, или просто чернец, учительного слова от него никакого нет и ни о ком не печалуется; а прежние святители сидели на своих местах и печаловались государям о всех людях". Берсень не совсем справедлив: митрополит Даниил был "учителен" более многих предшественников, как об этом свидетельствуют дошедшие до нас его поучения и обличения. Но трудно представить себе этого угодливого иерарха в роли усердного "печалователя". В древнем обычае печалования церкви за опальных, за осужденных выражалась сильнее всего духовная независимость церкви и высота ее нравственной правды. Поддерживая мо-

сковских государей в их деле собирания земли русской и не отрицая их прав самодержавно карать ослушников, высшие иерархи брали на себя благородную роль адвокатов милосердия. Милосердием церкви смягчалась жестокость политической необходимости и партийной борьбы. В XVI веке, при остром, повышенном самосознании новых самодержцев, печалование — мы увидим это в эпоху Грозного — делается трудным подвигом для представителей церкви. Весьма правдоподобно, что Даниил не имел охоты обременять таким подвигом свои плечи. Мы видели легкость, с какой он взял на себя грех клятвoprеступления в деле Шемячича. Современники ставили ему в вину соучастие и в другом грехе, немаловажном для религиозной совети москвичей: в разводе государя со своей супругой Соломонией. Единственным поводом к разводу была бездетность великой княгини, — повод, с которым церковь не считается. Князь оправдывал развод политической необходимостью, недоверием к своим братьям, которым предстояло наследовать после него государство: "Они и своих уделов управить не умеют". Странно, что и историки как будто признают политическую вескость этого наивного соображения. Качества нерожденного наследника неизвестны. Оставляя государство малолетнему сыну, помимо братьев, Василий III вверял его неизбежно в слабые женские руки, за которые держались сильные, но своскорыстные руки бояр — родственников и временщиков.

Смутное время боярщины в малолетство Ивана IV и губительное влияние его на характер Грозного были последствием "политического" развода Василия III. Церкви было предложено освятить это сомнительное политически и морально деяние. Говорят, что великий князь посылал грамоты всем патриархам Востока и на Афон, желая получить у греческой церкви благословение на свой неканонический акт: греки будто бы ответили решительным отказом. Московский митрополит взял и этот грех на свою ответственность. Соломония была не только разведена со своим супругом, с которым прожила двадцать лет в мире и согласии, но и насильственно пострижена. Рассказывают, что при пострижении в церкви происходили жестокие сцены: княгиня топтала ногами поданный ей митрополитом куколь, кричала, что ее постригают насильно, призывая Бога мстителем. Иван Шигона, представитель в. князя в этом печальном обряде, осмелился будто бы поднять руку на несчастную. Так повествует Герберштейн.

Во всяком случае, истинны или нет эти подробности, самое дело это должно было произвести тяжелое впечатление на Москве — с ее глубокой приверженностью к церковному

закону, канонам и уставам. Кошунственные разводы Грозного были подготовлены этим первым беззаконием его отца.

Во всех этих событиях мы видим выражение одного общего исторического явления: умаление независимости духовной власти параллельно с ростом нового самодержавного сознания московских государей. Дело не в личных качествах Василия III и митрополита Даниила. Обозревая события пяти царствований, с середины XV в. до конца XVI, можно констатировать эту растущую тенденцию. Особенно яркое выражение она находит в судьбах митрополичьей власти. Обратим внимание только на один, бросающийся в глаза факт. Насильственное сведение с кафедры митрополита Варлаама было явлением небывалым в русской церковной истории. До середины XV века русские митрополиты или присылались из Константинополя, будучи греками по происхождению, или назначалась вселенскими патриархами из кандидатов, предлагавшихся русскими князьями, Московскими и западно-русскими. Не имея права самостоятельно ставить митрополита, великий князь Московский тем не менее мог низлагать его. Для этого требовался формальный суд патриаршего собора в Цареграде. Эта независимость от местной власти возвышала первоиерарха русской церкви над всеми политическими силами русской земли. Он занимал по отношению к князьям отеческое положение, хотя и не всегда равно беспристрастное, хотя и не чуждое определенной политической линии — покровительства растущему единодержавию Москвы. Достигши, с помощью церкви, своей цели, московские князья начинают тяготиться ее патриархальной опекой. Мы видим трения уже при первом государе — самодержце Иване III. Много лет великий князь враждует с митрополитом Геронтием по чисто церковному вопросу (хождение "посолонь"). Он явно добивается его ухода с кафедры. Когда утомленный борьбой и изнуренный болезнью владыка удалился в монастырь, не слагая с себя сана, великий князь стал добиваться его формального отречения. Однако Геронтий не поддался на уговоры и вернулся на митрополию. Государь должен был уступить ему во всем — и в том, что касалось предмета разделявшего их литургического спора. Не говорим здесь об отречении Зосимы, явного еретика. По отношению к нему была проявлена чрезвычайная бережность. Вместо соборного осуждения, которому подверглись его единомышленники, ему была дана возможность уйти на покой "по немощи".

Василий III мог дерзнуть на то, перед чем остановился его "Грозный" отец. Митрополит Варлаам стал первой жерт-

вой новых отношений. Когда прецедент был создан, пользоваться им стали с чрезвычайной легкостью. Даниил, умевший угождать Василию III, был сведен с кафедры в эпоху боярщины, так же, как и его преемник Иосиф. Гордому и ученому владыке пришлось даже подписать небывало унизительную грамоту при своем отречении.

Если взять 9 иерархов, занимавших московскую кафедру за время Василия III и Ивана IV, то мы увидим, что из них лишь трое умерли в своем сане. Остальные были лишены его насильственно или "добровольно" отреклись: один из них (св. Филипп) оставил не только кафедру, но и самую жизнь. Отречения продолжаются и при кротком Федоре Ивановиче, указывая на прочно установившуюся традицию.

Этим можно закончить очерк политического и церковно-общественного перелома, совершавшегося в Москве Василия III в годы молодости Федора Колычова. Почти все эти события совершались на его глазах, большинство деятелей этого богатого волнениями века, вероятно, были ему знакомы лично. Близкий к великокняжескому дворцу, он должен был принимать к сердцу все, что волновало его современников. Этими соображениями оправдывается наше затянувшееся введение в биографию. Мы исходим из предположения, что политические и церковные события должны были воспитывать его характер, его убеждения. В каком духе и направлении? Этого мы, конечно, не можем сказать с уверенностью. Но с большой долей вероятности можно предполагать, что, как по своему происхождению и принадлежности к боярским кругам, так и по чисто церковным мотивам, возобладавшим в нем впоследствии, он вряд ли мог быть в стане поклонников нового режима. Не принадлежа к узкому кругу любимцев великого князя, он скорее должен быть доступен глухому ропоту против него, доносившемуся и до ушей иностранцев. Впоследствии, обличая его сына, митрополит Филипп ставил ему в пример отца. Время и жестокости Ивана IV могли изгладить в памяти и даже реабилитировать суровость его отца. Так для современников Василия время Ивана III казалось идеальным веком — патриархальности, простоты и правды. Современники Ивана III из боярской среды судили об этом иначе.

Если историк-государственник, зачарованный ростом внешней силы и могущества Москвы, назовет тенденциозной нарисованную нами картину теневой стороны этого великого исторического процесса, то в биографии митрополита Филиппа эта картина вдвойне оправдана: как восприятие той среды, к которой принадлежал молодой Колычов, и

как тот фон, на котором может рельефно выступить фигура будущего митрополита.

После смерти Василия Ивановича, дела на Москве идут особенно бурно и смутно. В их водоворот оказываются вовлеченными и многие из Кольчовых. Так как катастрофа, постигшая этот боярский род, непосредственно связана с важнейшим переломом в судьбе Федора, то мы обязаны подробнее остановиться на пятилетнем регентстве Елены (1533 — 1538).

Вместе с Еленой Глинской вторично властная иноземка получает влияние на русскую государственную жизнь: великий князь, умирая, ей отказал государство и малолетнего сына. Елена была племянницей знаменитого магната литовского кн. Михаила, одного из крупных авантюристов, оставивших свои следы — следы кондотьера — в политической истории Западной Европы. Кн. Глинский служил многим европейским монархам — в Италии, в Испании, при дворе императора Максимилиана. В Литве при в. князе Александре "дворный Маршалок" владел чуть не половиной государства. По-видимому, он ставил своей целью стать независимым государем западно-русских земель. Потерпев крушение в этих замыслах при короле Сигизмунде, он перешел на службу Московского князя, мечтая для себя о княжестве Смоленском. Когда и эти надежды его не осуществились, он пытался перебежать обратно в Литву, но был схвачен и посажен в кремлевскую темницу. Брак Василия III с его племянницей освободил Глинского из заключения и поставил на первое место в ряду московской знати. В первые годы регентства Елены он был главным лицом в составе боярского правительства.

Вместе с кн. Еленой и ее родней новая струя Ренессанса пробивается в Москву — на этот раз не итальянско-греческая, а польско-западная. Княгиня Елена должна была получить прекрасное образование, за которое, быть может, великий князь и предпочел ее московским боярышням. К сожалению, мы ничего не знаем о положительном культурном влиянии, исходящем от Глинских. Слышим только, что в угоду молодой жене великий князь сбрил себе бороду — западная мода, распространившаяся тогда среди московских щеголей и приводившая в негодование ревнителей старого быта. Кроме брадобрития, Елена принесла с собой, по-видимому, в кремлевский княжеский терем и общую атмосферу имморализма. По крайней мере, ее кратковременное правление богато скандалами и темными событиями. Москва возмущалась ее почти открытой связью с князем Телепневым-Овчиной (Оболенским), который играл роль временщика при дворе. Сам дядя правительницы, кн. Ми-

хаил, пал в борьбе с фаворитом. Елена отправила его (1534) в ту же башню "За Неглинной, за Ямским двором", из которой он вышел благодаря племяннице; там он вскоре и умер.

Отъезд в Литву князя Бельского и Ляцкого повлек за собой аресты в среде бояр, заподозренных в соучастии. Трагичнее всего сложилась судьба удельных князей, братьев покойного государя: Юрия и Андрея. 3 декабря (1533) Василий III закрыл глаза, а через восемь дней после его кончины был схвачен кн. Юрий Дмитровский, приехавший в Москву во время предсмертной болезни государя. Его обвинили в том, что он сманивал к себе на службу кн. Андрея Шуйского. За этим обвинением скрывалось другое: в стремлении к московскому престолу. Одна из летописей так выражает эту мысль, приписывая ее боярскому окружению правительницы: "Если не схватить князя Юрия Ивановича, то великого князя государству крепку быть нельзя, потому что государь молод, а Юрий совершенный человек, и людей приучить умеет; как люди к нему пойдут, то он станет под великим князем подыскивать государства" (т. е. добиваться великого княжения). Летописец этот явно не сочувствует московскому правительству: "Дьявол вложил боярам мысль недобрую, зная, что, если князь Юрий не будет схвачен, то не так совершится воля его (дьявола) в граблених, продажах и убийствах". Граблениа и убийства рисуются, как неизбежные последствия малолетства государя и правления временщиков. Во всяком случае, народная совесть разделилась в этом конфликте, как разделилась она, если судить по летописям, и при падении князя Андрея. Князь Юрий, арестованный по боярскому слову, был посажен в ту же башню, где кончил свою жизнь несчастный Дмитрий, сын Иванов. Через три года он умер в темнице, как пишут, от голода: "страдальческою смертию, гладною нужею" (1536).

Несколько месяцев спустя после смерти князя Юрия, решила судьба и Андрея Старицкого. Младший из братьев Василия, он сохранил с ним лучшие отношения, чем другие. Не обладая политическим честолюбием, он доживал свой век в Старице, окруженный удельным двором, боярами, среди которых, как мы знаем, одно из первых мест занимал Иван Колычов, дядя будущего митрополита. После "сорочин" по покойном брате, он стал выпрашивать у правительницы городов к своему уделу. Ему отказали, одарив, по обычаю — в честь покойного — шубами и конями. Отсюда недовольство и размолвка между большим, Московским, и малым, Старицким, дворами. Шептуны и перебежчики будили обоюдную подозрительность. Вызванный

в Москву кн. Андрей примирился с Еленой, дав клятвенную запись не принимать отъездчиков от великого князя "на его лихо", но и после этого глупое недовольство не прекращалось.

Смерть брата Юрия должна была ускорить развязку. По случаю казанского похода, Елена велела звать Старицкого князя в Москву на совет. Андрей не поехал, ссылаясь на болезнь. Посланный в Старицу иноземный врач Феофил донес, что у Андрея болезнь легкая. Елена требовала немедленно явиться в Москву, в каком бы он ни был положении. До нас дошел ответ удельного князя. Называя себя "холопом" великого князя и униженно умоляя о милости, он горько сетовал на обиду: "а прежде, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носилках волочили".

Между тем до Москвы дошли слухи о том, что старицкий князь замыслил побег. Из Москвы к нему было отправлено посольство из трех духовных лиц от имени митрополита Даниила; они убеждали его "ехать к государю и к государыне без всякого сомнения: и мы тебя благословляем и берем на свои руки". Поручительство Даниила внушало, понятно, мало доверия, тем более, что из Москвы уже двигались к Волоку полки под начальством двух князей Оболенских — Никиты Хромого и любимца Елены Овчины. 2 мая Андрей бежал из Старицы и стал поспешно собирать верных ему людей. В грамотах к новгородским помещикам и детям боярским он писал: "Великий князь молод, держат государство бояре, и вам у кого служить? Я же вас рад жаловать". Многие откликнулись на его призыв. Но кн. Никита уже отправился укреплять Новгород. Овчина, который стал у Волги, сначала отрезал дорогу на Литву, потом перешел в погоню и, нагнав рать кн. Андрея, убедил его сдаться на милость Москвы. От имени правительницы Овчина дал клятву, что в Москве князь не будет схвачен и не подвергнется большой опале. Старицкий князь попался в ловушку. В Москве он ходил на свободе только два дня. Потом правительница объявила, что воевода не был уполномочен давать князю гарантии, и велела заключить Андрея в оковы. Князь не более полугода прожил в неволе. Старая традиция московского вероломства при Елене сочеталась с системой тайных казней. При ней никто не выходил живым из кремлевских башен.

Падение удельного князя повлекло за собой казни и опалу его приверженцев. Жена его и сын Владимир были взяты под стражу. Удельные бояре — князя Пронский, Оболенские, Пенинские, Палецкие, а с ними дети боярские, сидевшие в "избе и думе" князя Андрея, подверглись пытке,

торговой казни и заключению. Наконец, тридцать помещиков новгородских, перешедших к князю Андрею, были повешены, и виселицы их расставлены по всей дороге от Москвы до Новгорода. Среди них летопись называет многих Колычовых.

В мае (1537) произошло неудачное восстание кн. Старицкого с последовавшими за ним казнями. 7 июля, по словам жития св. Филиппа, юный Федор был поражен услышанными в церкви евангельскими словами о невозможности служить двум господам, и решил покинуть мир. Трудно было бы отрицать связь между этими двумя событиями. Но, утверждая ее, мы не желаем и не имеем права представлять Федора Колычова заговорщиком против московского правительства, бегущим в монастырь, чтобы спасти свою голову. Мы не знаем, угрожала ли ему лично какая-нибудь опасность. Не все Колычовы пострадали. Отец Федора, Степан Иванович, должен был стоять близко к правительнице в качестве дядьки ее младшего сына Юрия. Но трагическая смерть родных и близких переполнила чашу. Трудно было, действительно, служить тогда в Москве двум господам. Федор достаточно насмотрелся на политическую жизнь в Москве, чтобы почувствовать к ней отвращение. Есть одно обстоятельство, которое заставляет предполагать в юноше раннее религиозное призвание. Достигнув 30 лет, Федор все еще не был женат — обстоятельство удивительное на Руси. Мысль об отречении от мира должна была уже давно тайно зреть в нем, и политическая катастрофа только ускорила его решение.

Религиозное "обращение" очень часто совершается без влияния внешних, мирских мотивов. Разнообразны средства и испытания, которыми ведет Бог душу по пути очищения от страстей. Земные утраты — это вызов, обращенный Богом к душе — падет ли она или возродится? Вся последующая жизнь инок и митрополита дает ответ на вопрос об истинных основаниях его ухода из мира: что здесь было внутренним и что внешним?

Думаем все же, что и внешнее, т. е. тяжелый политический опыт, пережитый им в молодости, не был лишь отрицательным. Не одно отвращение к миру вынес из него будущий монах, но и ясную, трезвую оценку сложных сил, которыми вяжется ткань политических событий. Судьбой он поставлен был на том месте, откуда виднее кулисы исторического театра. Он видел теневые стороны его актеров; их страсти и интриги, которые сливаются у них с идеями народного блага и национальной славы. Исторический излом русской жизни прошел жестоким рубцом через его среду, его семейный круг, раздавив его собственную карьеру. Не

озлобленным человеком партии вышел он из кризиса, но зрелым мужем, который зорко видит и по ту и по другую сторону рубежа, знает цену вещей и умеет различать Божеское от человеческого. Для будущего митрополита не могло быть лучшей начальной школы. Только уроки ее должны быть дополнены уроками духовной жизни, в школу которой он стучится, беглец и странник, оставив за собой опасный блеск московского дворца.

ГЛАВА II.

СОЛОВКИ

I

Мы знаем многих опальных бояр XVI века, которые сменили царский двор на монастырь. Знаем, как легко было богатому и влиятельному человеку окружить себя в иной обители достатком и роскошью, привычными его сану. Можно было держать возле себя многочисленную челядь, иметь свои амбары и погреба. Грозный с негодованием рассказывает о такой вельможной и сладкой жизни бояр в Кирилловском монастыре: "Ныне у вас Шереметьев сидит в келье, что царь, а Хабаров к нему приходит с другими чернецами, да едят и пьют, что в миру. А Шереметьев невесть со свадьбы, невесть с родины рассылает по кельям пастилы, коврижки и иные пряные составные овощи, а за монастырем у него двор, на дворе запасы годовые всякие"... О знаменитом князе-иноке Вассиане, избравшем себе московский Симонов монастырь, недоброжелатель его пишет: "Пияше же нестяжатель сей романию, бастр, мушкатель, ренское белое вино".

Не для такой жизни бросил Колычов Москву, и первые шаги его аскетического пути лучше всего покажут разницу между знатным монахом-поневоле и святым по призванию. По словам жития, Федор ушел из Москвы, не открывшись никому, даже отцу с матерью, не взяв на дорогу ничего, кроме одежды — "нужных покрывал". И не какой-либо из богатых подмосковных или "заволжских" — белозерских монастырей избрал он для своего подвига, а далекую Соловецкую обитель на Белом море. Путь в Соловки долог и труден. Федор направился не прямой дорогой из Москвы

через Вологду, по Двине, а окольной, через земли Новгородские. Близкие ли родственные связи в новгородских вотчинах отклонили его путь, или не сразу мысль о северной обители встала перед ним, — мы не знаем. Только находим его на озере Онеге, на полпути от Новгорода к Белому морю. Дороги вели по озерам и болотам, недоступным для пешего в летнее время. Приходилось или плыть в лодке или ждать зимы, когда мороз скует зыбкие трясины. Какие-то неведомые нам причины — быть может, бездорожье, быть может, отсутствие средств — заставили путника остановиться на берегу Онежского озера в деревне Кижэ (или Хиже). Здесь он живет у местного поселенца Субботы "не мало дней" пастухом. Так будущему пастырю "словесных овец" надо было прежде понасти овец бессловесных, — замечает житие. Боярскому сыну сразу пришлось испить чашу нужды и лишений. Служба деревенским пастухом для вчерашнего придворного была лучшей школой смирения, чем любое монастырское послушание. Но это лишь этап долгого странствия. Настал день, когда перед юношей встали из волн Студеного моря, — не многоцветные стены и башни, как ныне, — а скромные главы деревянных церквей Соловецкого острова.

Прошло уже больше ста лет, как Герман, родом из Тотьмы, отшельник с Карельского берега Белого моря, и Савватий, пострижник Кириллова-Белозерского монастыря, побывавший и на Валааме, водрузили крест на необитаемом острове и начали здесь подвижническую жизнь (1429). Впрочем, ни преподобный Савватий, ни Герман не положили начала общежитию. Вокруг них еще не было учеников. Св. Савватий скончался не на острове, а в отлучке, на берегу, и погребен был в часовне на реке Выге (27 сент. 1435 г.). Герман, не вынеся одиночества и трудности пропитания в Соловках, тоже оставил остров, на который вернулся через год вместе с новым подвижником, уроженцем Новгородским (с озера Онеги). Преп. Зосима и был истинным основателем Соловецкой обители. Св. Герман, местно чтимый в Соловках, не оставил своего имени монастырю. Он первый привел сюда, увлекши своими рассказами о морской пустыне, великих пришельцев, но сам не раз оставлял открытый им остров для менее сурового поморского берега. Хотя он пережил и Зосиму, но никогда не был игуменом в созданной и его трудами обители, и не в ней окончил свои дни.

Преп. Зосима явился не только мужественным подвижником, поборовшим и голод и стужу и демонские искушения, но и отцом стекавшихся иноков, рачительным хозяином, организатором общежития. Он срубил первую церковь

на месте, где имел видение светлого, с небес спускающегося храма, и освятил его во имя Преображения Господня. Русский Север любил посвящать свои скромные деревянные церкви таинственному, духоносному Преображению. Его огнем и светом побеждался холод и мрак стихий; суровость аскетических трудов озарялась обетованием торжества — нетленной, прославленной плоти. Один из приделов Соловецкого храма был освящен во имя чудотворца Николая, властителя морских пучин. Из новгородской дарственной грамоты "в дом святого Спаса и пречистой его Матери и святого Николы" мы узнаем, что другой придел — или отдельный храм — был посвящен Пресвятой Богородице. Через несколько лет, еще при Зосиме, когда на месте маленькой церковки был построен большой, но все же деревянный храм во имя Преображения, при нем, с восточной стороны, была пристроена церковь Успения Божией Матери. Так на диком острове, среди пустынного полярного моря святая Русь появляется с именами своих излюбленных святых, символами своего сокрытого от нас (невыраженного в книгах) богомыслия.

Уже происхождение обоих основоположников соловецких указывает на два пути, ведущих из Руси к Белому морю: один с Московского юга, другой с Новгородского юго-запада. Вероятно, и среди первоначальных иноков мы могли бы встретить уроженцев обоих великорусских государств, с численным преобладанием новгородцев. К русским рано начали присоединяться и местные финны-карелы, которые приходили в монастырь еще при жизни св. Зосимы, крестились здесь и иногда принимали монашеский постриг.

Весь поморский север в то время тянул к Великому Новгороду. Среди редкого инородческого населения — карел и самоедов — рубили свои поселки холопы и крестьяне новгородских бояр, осваивая для своих господ островки редкой хлебородной земли, занимаясь звероловством, рыбными и соляными промыслами. Наряду с приказчиками новгородских купцов, на север проникают пустынножители и колонии иноков из южных монастырей, обслуживая религиозные нужды русских насельников. Нередко монашеская пустынь является приходской церковью для обширного района. Но ко времени основания Соловецкого монастыря за сотни верст в округе не было значительных монастырей. Соловецкие пионеры упредили естественный прилив колонизационного движения и создали единственный по своему значению центр для всего православного Севера.

Соловецкий остров совершенно лишен хлебородной земли. Поверхность его состоит из скал и озер, да холмов,

заросших лесом. Климат острова не столь суров, как можно было бы ожидать, судя по его географической широте. Море, не замерзающее круглый год, за исключением прибрежной полосы, умеряет зимнюю стужу: морозы редко превышают 20 градусов. Но земля здесь не может прокормить своих обитателей. Отсюда необходимость заводить промыслы или искать удобную почву на материке. Еще при жизни св. Зосимы монастырь направил свою хозяйственную деятельность по этим двум путям. Вот как описывает его житие монастырское хозяйство: "И дров множество рубили и заготавливали, и воду из моря черпали, и соль варили, и продавали торговцам и получали от них всякие орудия на потребу монастырскую, трудились и в прочих промыслах, ловили рыбу... И так кормились от своих трудов в поте лица". Но рано уже бояре новгородские дают монастырю земельные угодья по побережью Белого моря. Древнейшая из дошедших до нас грамот принадлежит знаменитой Марфе Борецкой, вдове посадника Исака Андреевича. Вместе с сыном своим Федором, боярыня дарит монастырю "на море в Суме реке у часовни два лука земли, где Парфенка да Першица живут, и на той земле деревни страдомья, и пожни, и лес полешей, и ловища водные и лешие озера". Теми землями "володети игумену и старцам во веки, а поминати им мужа моего Исака, и родителей моих и детей моих, а ставить им обед на Димитриев день".

Не всегда отношения между монастырем и новгородскими засельщиками складывались мирно. Уже рано рыболовы и звероловы как русские, так и карелы, начали заезжать на самые острова Соловецкие, чиня обиды инокам. Монастырь, заброшенный в пустынном море, не мог уйти от власти Великого Новгорода. Там он должен был искать себе защиты от притеснителей, и нашел ее. Сохранилась грамота за печатями владыки Новгородского Ионы, посадника, тысяцкого и пяти кончанских старост, коею за обителью Соловецкою "с моря Окияна" признается право владения всей группой островов: Соловки, Анзеры, Муксалмские (Большой и Малый) Заяцкие (Большой и Малый) "и малые островки"... "А бояром ноугороцким ни корельским детем ни иному никому ж в те острова не вступаться... А кто придет на те острова на ловлю или на добыток, на сало или на кожу, ино всем тем давати в дом св. Спаса и св. Николы изо всего десятина". А всякий слушник "даст великому Новгороду 100 рублей в стену". (Около 8000 рублей XIX в.).

Завися от Новгорода в хозяйственном и гражданском отношении, Соловецкий монастырь тем более зависел от него в делах церковных. Он лежал в обширной епархии ар-

хиепископа Новгородского, и зависимость эта была законна. Но нас удивляют те строгие формы, в которых она первоначально выразилась. Все первые настоятели монастыря присылались в Соловки из Новгорода, из чернецов Новгородских, т. е. не избирались из состава братии. Однако, эти пришельцы недолго могли выдерживать суровость северной Фиваиды, и возвращались в город, покинув свою паству. Они оказали большие услуги Соловкам, ходатайствуя за них у городских властей, но духовными отцами монастыря оставались святые основатели его — Герман и Зосима. Наконец, соловчане настойчиво стали домогаться игумена из своей среды, и архиепископ Иона должен был согласиться со справедливостью их требований. Он утвердил Зосиму, избранного братией, четвертым игуменом соловецким, предварительно вызвав его к себе в Новгород. Одной из величайших драгоценностей богатой впоследствии ризницы соловецкой навсегда осталась скромная риза из белого полотна, с шелковым лишь оплечьем, подаренная архиепископом преп. Зосиме при поставлении его во игумена. В этой ризе, по древнему обычаю, служили настоятели в день памяти святого.

В настоятельство св. Зосимы шли усиленные работы по перестройке церкви, келий и служебных зданий. Окончательно установлен устав церковной службы и келейные правила. Устав преп. Зосимы, сохранившийся в библиотеке монастыря, составлен в согласии с Иерусалимским типиконом. Почитая память своего предшественника, Зосима перенес на остров мощи св. Савватия из часовни на реке Выге, где скончался преподобный. Над могилой его уже совершались чудеса. Настоятель Кириллова-Белозерского монастыря, где начал свои подвиги почивший старец, писал соловецкому игумену, убеждая его не лишать себя дара целебных его мощей. Они были торжественно погребены в обители за алтарем Успенской церкви, и над гробом была уже поставлена первая икона, написанная новгородцем Иваном, знавшим старца лично, свидетелем его кончины.

Среди хозяйственных своих забот, Зосима должен был предпринять вторичное путешествие в Новгород, искать управы от насилия боярских людей. Здесь ему пришлось встретить суровый прием у прежней благодетельницы монастыря. Посадница Марфа, люди которой обижали соловчан, с бесчестием прогнала старца со двора, и тогда-то он, рассказывают, предрек судьбу, ожидавшую гордый род: "Се дни грядут, когда дома сего жители не исследят стопами своими двора сего, и затворятся двери дома сего... и будет двор их пуст". Близость великой катастрофы бросает назад свою тень и в другом зловещем видении, о котором повест-

вует житие Зосимы. Раскаившаяся Марфа пригласила игумена к себе на пир. Во время пира преподобный имел странное видение: шесть пировавших гостей, из числа знатнейших бояр, сидели без голов. Зосима не мог удержаться от слез. Через год видение святого исполнилось; шесть голов слетело по приказу великого князя Ивана Васильевича, после шелонского боя. Преподобный же возвратился на остров с новым пожалованием Борецкой, грамотой на новые земли, писанной рукою ее сына (1470 г.).

Умирая в 1478 г., строитель соловецкий благословил братию и обещал славное будущее обители: "Телом я ухожу от вас, но духом неотступно с вами пребуду; и да будет вам ведомо: если я обрету благодать перед Богом, то обитель моя по отшествии моем наипаче распространится, и соберутся братий множество в духовной любви, и умножится святая сия обитель всяким обилием духовным, и в телесных потребах они не оскудеют". Последние слова прекрасно рисуют дух северного монастыря за все пять столетий его славной истории. Он умел соединить широкую хозяйственную деятельность с неглохнувшей и в периоды упадка традицией духовной жизни. Огромные владения не заглушили его призвания. Не в суровом аскетизме, не в мистическом созерцании — смысл соловецкого трудничества, а в разумном сочетании деятельной и созерцательной жизни, в соединении труда и молитвы.

По смерти великого основателя, 18 настоятелей сменили друг друга до игумена Алексея, при котором постригся Федор Кольчов. Мы мало знаем о событиях, наполнявших годы их большей частью кратковременного правления. Монастырь продолжал расти, благосостояние его развивалось, подрываемое разве пожарами (1485 г. и 1538 г.). Падение Новгорода не отразилось на его экономическом процветании. Иван III дал монастырю грамоту на владение островами, подтвержденную его сыном. Новгородские владыки продолжали делать в монастырь вклады и наделять его льготами, "тарханскими" грамотами. Третий преемник Зосимы игумен Досифей составил житие преподобных основателей Зосимы и Савватия. Хотя и подвергшееся, по просьбе скромного автора, риторической обработке под пером митрополита Спиридона (1503 г.), оно довольно богато конкретными чертами, и рисует, если не духовный облик святых, то уклад жизни в слагающейся обители. При следующем игумене Исаии в монастырь был перенесен, через 5 лет по преставлении Германа, его гроб и поставлен близ алтаря, рядом с мощами преп. Савватия.

В 1514 г., по повелению великого князя, монастырь был описан московскими дьяками. В писцовой книге сохрани-

лись следы какого-то вмешательства московских властей во внутреннюю жизнь обители. Игумен Евфимий, упоминающийся в описи, почему-то устранен от дела. Чиновники приказывают временно ведать монастырем четверем старцам, "докудова им князь великий игумена даст или товожа даст". Возможно, что с этого времени утверждение соловецкого игумена происходило с согласия Москвы. Это, однако, не отменяло прав новгородского владыки, в ведении которого по-прежнему находился монастырь.

Во всяком случае, игумен Алексей (Юренив) принял соловецкий монастырь в 1534 г. по описи дьяков и по грамоте в. князя Ивана Васильевича (Грозного). Не раз малолетний царь (или его правительство) являются благодетелями обители, в годы иночества Филиппова. После пожара 1538 г. царь вознаграждает монастырь рядом поморских деревень с соляными угодьями и оброком. В 1541 г. он дает монастырю "несудимую" грамоту (подтверждение грамоты Василия III), по которой монахи и крестьяне монастырские освобождались от суда светской власти, "опричь разбоя и татьбы с поличным". Суд над всеми зависимыми людьми передавался игумену, в дела которого не должен быть вступать даже владыка новгородский, кроме дел духовных. Готовясь к Казанскому походу, государь писал в Соловки через бояр, прося молиться о победе, и при этом случае велел раздать монахам щедрую милостыню ("семь рублей и восемь денег в московское число").

Со времени Грозного в Москве не забывают о северном монастыре, хотя как будто заменить былую щедрость оскудевшего Новгорода.

Около времени второго Соловецкого пожара (1538) к игумену Алексею пришел с Онеги тридцатилетний юноша и просил принять его в послушники. Федор не пожелал открыть своего мирского звания — разумеется, ради смирения, а не безопасности от московских властей, — и прошел обычный суровый путь монастырского трудничества: "дрова убо секий и землю копая в ограде (огороде) и камень пренося, овогда же и гной (навоз) на плещу своею носяще", — работал на огороде, расчищая и удобряя бедную каменистую почву. Приходилось ему переносить испытания и более тяжкие для его смирения: "многожды же уничижаем и бием от неразумных", не гневался и с кротостью переносил все. Через полтора года он был пострижен и наречен Филиппом. Но "ангельский образ" не отменил его тяжелых трудов. Филипп нес послушание сначала на поварне, потом в пекарне: рубил дрова, носил воду, топил печь. Эти годы он находился в послушании у иеромонаха Ионы, "дивного старца", который в юности был учеником преп. Александра

Свирского, тогда же прославленного. Иона учил Филиппа всему монастырскому и церковному уставу, пока ученик его, превзойдя литургическую науку, не был поставлен еклисиархом — наблюдающим за чином богослужения. Рассказывают, что старец предрекал о своем ученике: "Сей будет настоятелем во святой обители нашей". Предчувствовал ли он высокий и страшный жребий, его ожидавший? Доселе под папертью церкви св. Зосимы и Савватия, рядом с надгробной плитой митрополита Филиппа, сохранилась в стене и памятная плита его учителя: "Лета 7076 (1568) преставися раб Божий инок Иона Шамин месяца генваря в 10 день". Старец Иона лишь на 2 года упредил в вечности своего духовного сына.

Но трудовые соловецкие послушания не заглушили в иноке вкуса к духовной жизни. На эти годы падает удаление Филиппа из монастыря в лесную пустыню: "тамо к Богу ум возвысив, в молитвах точию упражняшеся". В этом уединении отшельник провел "не мала лета"; потом вернулся к обычным трудам. Запомним эту драгоценную подробность его столь скудной личными чертами биографии. Вместе с пастушеством на Онеге, она спасает образ Филиппа от возможных искушений вложить его в схему обычной духовной карьеры, продолжающей злосластно оборвавшуюся придворную службу.

Через десять лет соловецкой жизни Филипп был у всех на виду, среди первых по дарованиям и подвигам иноков. Игумен Алексей любил его и уже видел в нем своего возможного заместителя. Было ли в это время известно в Соловках происхождение и мирское богатство Филиппа? Это возможно — по крайней мере, для настоятеля и духовного отца Филиппова. Все равно, имя Колычова должно было открыться в Новгороде при поставлении в игумены. Можно думать, что имя это, вместе с его личными качествами, могло остановить на нем выбор Алексея. Удручаемый старостью и болезнями, он задумал еще при жизни сложить с себя бремя управления на молодые плечи. Несмотря на отказы Филиппа, игумен предложил братии, ссылаясь на свою немощь, выбрать нового настоятеля, и выбор единодушно пал на Филиппа. Филипп не прекословил.

С письмом старого игумена и в сопровождении нескольких иноков, он отправился за утверждением в Новгород. Весной пустились соловчане в далекий путь, через болота и озера, чтобы вернуться на остров до зимних льдов. Архиепископ Феодосий принял монахов, привезших письмо игумена, но не увидел среди них Филиппа. "Где же избранный?" спросил он. Избранный скрылся из скромности. Представ перед владыкой и удовлетворив его разумными

ответами на испытующие вопросы, Филипп был рукоположен в священника и получил из рук архиепископа игуменский посох. "Вот отец вам, сказал Феодосий; имейте его во образ Христов и покоряйтесь ему со всяким послушанием".

Здесь в Новгороде Филипп должен был возобновить свои родственные и дружеские связи, и вступить во владение оставленными некогда имуществами. Возвращался он в Соловки уже богатым человеком, чтобы употребить свое состояние на строительство и украшение обители. Московский беглец искал когда-то смиренной нищеты. Филипп — игумен не был нестяжателем в том смысле, как понимали нестяжательство заволжские старцы.

В середине августа его встречали уже в обители с крестами, иконами и колокольным звоном. Бывший игумен с братьей вышли ему навстречу до берега и проводили в церковь на игуменское место. Немного не поспел Филипп ко дню храмового праздника Успения. 17 августа 1548 г. он совершил соборне свою первую литургию в монастыре и сказал свое первое учительное слово.

Здесь житие Филиппово помещает странный эпизод, к сожалению, не разъясняя его в своем скупом изложении. К нашему удивлению, игумен столь торжественно поставленный в новом сане, не остается в монастыре, а слагает с себя управление. Вот как повествуется об этом: "Преподобный, хотя и принимает старейшинство, но не изменяет своего прежнего нрава. Больше прежнего простираясь на подвиг и предаваясь еще большим телесным трудам, он видел себя хвалимым и почитаемым, и вменил сие в тщету, будучи от юности украшен смирением; сего ради оставил игуменство и стошел опять в пустыню, приходя в монастырь только для причащения пречистого тела и крови Христа Бога нашего. В это время начальствовал старый игумен, который и постриг святого, в течение полутора лет, пока не преставился. И поставили опять Филиппа". Удивительный сам по себе случай отречения только что избранного игумена, становится еще более странным, если обратить внимание на то, что, как для возвращения к власти престарелого Алексея, так и для вторичного утверждения Филиппа, потребовались новые путешествия в далекий Новгород. Владыка Феодосий должен был трижды в течение двух лет ставить игумена в Соловки. Этому формальному поставлению соответствует и вторичное избрание Филиппа в игумены на собрании братьи по смерти Алексея. Все это указывает на то, что, удаляясь в пустыню, Филипп, действительно, сложил с себя сан: его отшельничество не было лишь затянувшимся аскетическим уединением. Что-то произошло в Соловках — что-то перевернувшее временно решение Филиппа. О мотивах его

отказа, причинившего столько хлопот монастырю, мы можем только гадать.

Здесь представляются две возможности. Или Филипп, с первых же шагов своего игуменства, столкнулся с враждебной ему партией, сумевшей вооружить против него (или противопоставить ему) старого игумена. В таком случае, мы имели бы в этом эпизоде зародыш того конфликта, который проявился 20 лет спустя во время суда над митрополитом, когда группа соловецких чернецов свидетельствовала против своего бывшего игумена. Составленное в Соловках житие могло обойти неприятную для обители страницу внутренних раздоров.

Но можно признать убедительной и внутреннюю мотивацию, предлагаемую житием. Тогда Филипп слагает с себя бремя власти по аскетическим опасениям. Он сомневается в своих силах, раскаивается в своем согласии, бежит власти. В обоих случаях перед нами не твердый характер, не честолюбивый деятель, знающий меру своих сил и ответственности, — натура скорее робкая, стремящаяся уклониться от власти, в смиренном сознании своей слабости. От себя ли самого или от врагов бежит Филипп, но он бежит. Беглецом мы видели боярского сына, беглецом видим и игумена. Не борец, а беглец. Таким мы должны запомнить его, чтобы образ хозяйственного игумена и мужественного исповедника не заслонил в наших глазах его природы, той кроткой и смиренной "немощи", в которой "сила Божия совершается".

II

Если инок Филипп бежал от власти по недоверию к своим силам, то эти силы нашлись в нем с избытком, когда бремя власти легло на него. В новом сане Филипп обнаружил редкие административные дарования. Восемнадцать лет его игуменства были эпохой в жизни Соловецкого монастыря. Он по справедливости считается вторым его основателем. До сих пор соловецкие церкви, здания, мастерские, озера и скиты хранят память о кипучей деятельности святого игумена и вместе с сохранившимися документами возмещают отчасти для нас пробелы жития его, особенно скудного в изложении этих лет. Впрочем, самый характер наших источников обуславливает некоторую односторонность сведений. Мы хорошо знаем Филиппа — хозяина и администратора, но совсем не знаем духовного отца обите-

ли, не знаем почти ничего и о собственной его религиозной жизни. В эти годы Филипп повертывается к нам новой стороной, не самой важной, конечно, в экономии его духовных сил, но весьма характерной для древне-русского иночества и, в частности, для северного монастыря. Знакомясь с ней, мы перевертываем одну из замечательных страниц русской церковной культуры.

Филипп — игумен, прежде всего строитель, "ктитор" монастыря. Не знаем, в какой мере при игумене Алексее монастырь был восстановлен после пожара 1538 г. Службы в храмах, во всяком случае, совершались. Филипп задумал постепенно заменить деревянное строение каменным. Начал он с теплого (зимнего) собора Успения Божией Матери. Новгородские мастера приступили к кладке в 1552 г., и через пять лет, в праздник Успения 1557 г. собор был уже освящен. Наверху, в одной из глав был устроен придел Усекновения главы Иоанна Предтечи, в честь царского ангела. Под церковью находились хлебопекарные службы в подвалах, а сбоку пристроена огромная трапезная, в 19 сажень длиной, и обширная келарская келья. Над трапезной возвышалась колокольня с боевыми часами.

Через год (1558) Филипп заложил уже летний Преображенский собор, который должен был обширностью и красотой превзойти Успенскую церковь. Братия, которая с радостью взирала на начало строительства, теперь пришла в смущение от смелости игумена. "Отче, говорили ему, недостаток в киновии и оскудение великое, ибо нет прилежащих городов. Откуда возьмешь злата на сооружение великой церкви?" Средства нашлись. Много помогал и царь. Сам игумен украшал новый храм, не щадя собственных денег, иконами, сосудами, ризами, подсвечниками и лампадами. В этой церкви, с северной стороны, он избрал место своего погребения. Он хотел, чтобы память его в монастыре навсегда соединилась с поминовением его родителей, и этой цели посвящал свои щедрые вклады. В Летописце Соловецком записано: "Филипп Стефанович Колычов, игумен Соловецкого монастыря, просил всего братства, чтобы написать вечный поминок в литию: отца Стефана, да мать его инокиню Варсонофию, да брата Бориса, а как он игумен преставится, то написать и его в литию, а поминовение отправлять месяца ноября в 7-й день, а дача его, что он дал в монастырь, на 171 рублей, да сверх того иные дачи..."

Филиппу не довелось самому освятить дорогой ему Преображенский собор. Освящен он был 6 августа 1566 г., когда его создатель был только что поставлен на митрополичью кафедру в Москве. Преображенский собор, как и Успенский, строен на поклетях, и своды его подпираются дву-

мя огромными столпами. Снаружи высокий столпообразный храм имеет вид крепостной твердыни. Его увенчивает уже московское пятиглавие, но средняя, несравненно большая, глава покрыта новгородским шлемом. В храме 6 приделов; по бокам главного алтаря приделы архангелов и соловецких чудотворцев; в главах собора четыре малых придела; двенадцати и семидесяти апостолов и ангелов детей царских, Исанна Лествичника и Федора Стратилата.

Соборными церквями не ограничивается строительство Филиппа. Он соорудил каменные здания келий, больницу для монахов и богомольцев, "пустыни" в лесах, скит на Заяцком острове и там же "палату", поварню и каменную пристань. Заяцкий остров служил станцией для судов, задержанных на пути в Соловки противными ветрами. В самой гавани Соловецкой Филипп насыпал холмы и поставил на них высокие кресты, которые являлись маяками для пловцов. Наконец, при нем же построены подворья монастыря в Новгороде и Вологде. К новым церквям, взамен старых каменных клепал и бил, отливались медные колокола. Три из них сохранились от времен Филиппа, весом в 173 с половиной, 80 и 30 пудов. Большой называется преподобническим в память святителя. Надписи на них перечисляют имена царей, владык, жертвователей, игуменов, а также и мастеров литейщиков. Все колокола литы "в преименитом и славном граде Пскове".

Страсть к постройкам нередко является благородной формой расточительности, разоряя общежитие пышными, но не хозяйственными затеями. Для игумена Соловецкого попечение о своих чадах стояло на первом плане. Поучения его к братии не сохранились; не дошел до нас и действовавший при нем устав — вероятно, в основных чертах сохранившийся со времен Зосимы. Дошла лишь часть этого устава, составленная Филиппом (в 1553 г.) книга об одежде иноков. Эта одежда, а еще более продовольствие многочисленной братии должны были доставлять игумену немало забот. Из грамоты митрополита Филиппа в Соловки (см. Приложение), видно, что в монастыре было 200 человек братии. Кроме монахов, в Соловках жило много "работных людей"; в той же грамоте число их определяется в триста человек; все они "пили, ели и носили монастырское". То же, в еще большей степени, относится к постриженникам. Древняя Русь знала разные типы монастырского общежития; преобладали монастыри "особые", с сохранением частной собственности и даже отдельным столом. Соловки представляли тип строгой киновии, с исключением частного хозяйства. В древнем типике Соловецком монастырский обиход изображен следующим образом: "Игумен и священ-

ницы и соборные старцы и вся братья едят и пьют в трапезе; яства всем равна, а по келлиям опричь немощной братии отнюдь столы не бывают. Из трапезы выносу яств и питию не бывает. Одежду всякую и обувь дают всем из казны".

Св. Филипп не был поклонником неумеренной аскезы. Он улучшил и трапезу и одежду монашескую, требуя за то от всех неустанного труда. Тунеядцев он не терпел и принимал в монастырь только тех, кто, подобно ему, готов был есть хлеб в поте лица, по слову апостола: "кто не работает, тот да не ест".

Конечно, скудные соловецкие огороды, на которых он сам трудился послушником, не могли прокормить братии. Филипп завел, или, вернее, расширил молочное хозяйство. Препятствием было завещание св. Зосимы, который запретил разводить вблизи обители плодящихся животных (согласно студийскому уставу). Филипп не остановился перед частичным изменением устава св. Зосимы, с разрешения Новгородского владыки. На одном из островов, Муксальском, он устроил большой скотный двор, а в леса соловецкие пустил стада северных оленей. Скотный двор давал удобрение для огорода, но сам требовал сена; леса расчищались под "пожни", сенокосные луга. Лес рубился и в других целях: на дрова для кирпичного завода, изготовлявшего материал для построек. Чтобы спасти лес от нерасчетливого истребления, Филипп следил за правильной порубкой. В лесах легли длинные просеки, сеть дорог изрезала остров во всех направлениях. Одновременно шла осушка болот каналами и плотинами. Гидротехнические работы Филиппа более всего вызывают наше изумление.

На Соловецком острове, по счету игумена Досифея (в 1836 г.) 97 озер, имеющих особые названия, не считая мелких, безымянных (при величине о-ва 25 × 16 верст). Под самым монастырем находится обширное Святое озеро (700 × 200 сажень). В старину никто из богомольцев не входил в монастырь, не искупавшись или не омывшись в его священных водах. Дважды в год в нем совершались водосвятия, больные получали исцеления. Это озеро представляет искусственный водоем, выкопанный при игумене Филиппе; посредством целой сети каналов, он собрал в нем воду из пятидесяти двух озер, а для стока прорыл к морю два других канала, один из которых проходит под самым монастырем. Конечно, неизвестно, в таком ли виде существовала эта водная система при св. Филиппе, как в настоящее время. Вернее всего, она расширена впоследствии. В 1568 г. из Москвы, с митрополичьей кафедры, святитель писал в Соловки о продолжении работ по копанью пруда. Но уже сам Фи-

липп мог поставить на канале внутри монастыря мельницу для помола хлеба. (До него мельницы находились в трех верстах от монастыря). "Летописец Соловецкий" приписывает св. Филиппу даже изобретение каких-то машин или орудий. Кроме мельницы, Филипп завел мастерские для выделки меха и сапожных товаров из кожи собственных оленей. Искусные резчики работали предметы церковного обихода из "рыбьего зуба", т. е. моржовой кости. Это искусство всегда процветало в Соловках, распространяясь отсюда по всему поморскому Северу. Начало его восходит ко временам древнее Филипповых. В Успенской церкви до последнего времени стоял запрестольный крест из моржовых зубов с резным изображением распятия и святых. Крест этот вместе с резным Деисусом упоминается еще в описи монастыря 1514 года.

Но вся эта кипучая промышленная деятельность в Соловках не могла прокормить их обитателей. Остров не мог быть, по естественным условиям, самодовлеющим хозяйственным миром. Соловки — лишь центр обширного вотчинного хозяйства, тело которого разбросано по всему западному поморью, захватывая куски и внутренней России. Ко времени Филиппа Соловецкий монастырь является крупнейшим землевладельцем на русском Севере, с которым лишь кое-где сталкивается колонизационный поток, направляющийся из Кирилло-Белозерского монастыря. В руки его постепенно перешли, путем вкладов и прикупов, владения старого новгородского боярства и значительные части государственных земель, освоенных свободными колонистами. Не безынтересно бросить беглый взгляд на размеры и характер соловецкого вотчинного хозяйства, которое подверглось как раз при игумене Филиппе административной регламентации.

Владения монастыря, как прежде новгородского боярства, не занимали сплошных территорий, но были разбросаны островками среди болотистой и лесной пустыни. Заимки поселенцев естественно возникают по берегам многочисленных "морских" рек, текущих в Белое море, и по самому морскому побережью. По природе страны это прежде всего промышленные поселки: звероловные, рыболовные, солеварные. Грамоты полны указаниями на "тони и рыбные ловища, леший лес и лешие озера"; пахотная, "страдамая" или "орамая" земля занимает второе место. Деревеньки немногочисленны; иногда они состоят из 1 — 2 дворов, являясь скорее хуторами. Земледельческая семья, под защитой крупного вотчинника — быть может, с помощью его капитала, т. е. орудий и продовольственных ссуд, — ведет борьбу, один на один, с обступившей суровой, "лешей" при-

родой. Среди поселенцев мы различаем разные группы: крестьян, бобылей, казаков. Последние представляют кочевое, не осевшее поселение — батраков, сидящих на чужой земле. Но все они лично свободны и всегда вольны, если "по грехам" пожелают, покинуть монастырскую землю, очистив ее от тягла и недоимок. Поселения эти группируются в волости, большею частью связанные течением рек: Сумы, Вирмы, Шижни и т. д. Все эти речки текут по Карельскому и Поморскому, т. е. западному побережью Белого моря. В течение XVI века монастырские владения подвигаются на восток к Онеге, не достигая, однако, этой реки. Отдельными привесками в этом хозяйстве являются немногочисленные в XVI веке вотчины в Двинском и Каргопольском уездах, даже в Бежецком (нынешней Тверской губернии), где боярин Ив. Вас. Полев в 50-х годах отказал Соловецкому монастырю свою вотчину.

Отрывочные документы Соловецкого архива, дошедшие до нас, не дают возможности составить полной картины соловецких владений или подвести им цифровые итоги. Судьба некоторых волостей, случайно известных нам, свидетельствует о сильном хозяйственном росте в конце XV — XVI вв. По замечанию Ключевского, Соловецкий монастырь, вообще, обнаружил "стремление вносить свою деятельность в пустоши, от эксплуатации которых отказались местные поселенцы". Другими словами, монастырь проявлял хозяйственную инициативу, не только кормился с земли, но и кормил зависимое население, являлся активным культурным деятелем в крае.

От времен игуменства Филиппа до нас дошли три "уставных грамоты", данные им вотчинному соловецкому населению и представляющие кодификации действующего вотчинного права. Оставляя в стороне грамоту 1561 г. крестьянам села Пузырева Бежецкого Верха, условия быта которых сильно разнятся от поморских деревень, мы имеем грамоту 1548 г. пяти волостям, во главе с Вирмой, и грамоту 1564 г. Сумской волости. Трудно сказать, что в этой грамоте следует отнести на счет старого обычая, и что приписать инициативе игумена. Менее всего об этой инициативе может свидетельствовать ранняя грамота, датированная 17 августа 1548 г., то-есть самым днем вступления Филиппа в должность игумена. Главное содержание уставной грамоты 1548 г. — фиксация денежных повинностей разных категорий монастырских людей, — повинностей, идущих на корм вотчинной администрации. Общая тенденция — защита крестьян от произвольных поборов администрации: "А от поруки не давать ничего". "Не дают ничего", "не взять ничего"... проходит через всю грамоту. Монастырь, пользуя-

щийся правом суда над своими крестьянами, в случае тяжбы их с чужими людьми (и в случае тяжких преступлений) защищает их перед судом царского волостеля в Выгозере. Доводчик должен сопровождать тяжущихся на волостельский суд "и крестьян на суде беречь накрепко, а от того у крестьянина поминки (подарки), на езду, не имати доводчику ничего". Особенно характерно заключение: "Старец наш приказчик, или доводчик, коего крестьянина, или казака избидит чем-нибудь, или не по сей грамоте что на них возмут, и им от нас быть в ползе и в смиреньи, а кого чем избидят, и нам на них велети доправити вдвое".

Конечно, монастырское хозяйство не благотворительное учреждение. Оно зорко блюдет свои интересы, ограждая их, например, со стороны текучего, плохо поддающегося учету "казацкого" населения. Монастырь требует, чтобы каждый поселенец заявлял у властей "казака незнаемого", который станет жить на его земле, и не забывал "отъявить" его при уходе. Как заявка, так и отъявка казака сопряжены с уплатой пошлины.

Но уже не одна строгость рачительного хозяина, а и блюдение доброй нравственности со стороны духовной власти сказывается в строгих мерах против пьянства и игры в кости (зернь). "Какие крестьяне или казаки станут зерню играть, на тех доправит на монастырь полтину, на приказщика 10 алтын, на доводчика 2 гривны, а игроков выбить из волости вон". Этот огромный по тому времени штраф увеличивается вдвое, хотя и без угрозы изгнания, для винопийцев и винокуров. "Какие торговые люди ездят зимой и летом по волостям с вином продажным, приказщику тех людей на подворье не принимать и вина у них не покупать ни приказщику, ни крестьянам, ни казакам, и своо не курить". Чтобы вполне оценить смысл подобной строгости, следует иметь в виду, что, по преданию, св. Зосима совершенно запретил в монастыре употребление вина. Этот запрет был распространен и на монастырских крестьян.

Уставная грамота Сумской волости 1564 г. носит на себе уже несомненную печать личной деятельности игумена Филиппа. Она вводит реформы в управлении и закрепляет другие, имевшие место в предшествующие годы. В 1548 г. пять волостей управляются из одного центра, из Вирмы. Состав администрации не сложен: старец приказчик, келарь и доводчик (судебный пристав), по-видимому, составляют весь административный персонал. В грамоте 1564 г. мы видим уже три административных центра. В Вирме и Колежме живут приказчики (вероятно, с подведомственными им чиновниками), в каждой волости десятские, а в Суме главные надо всеми староста и тиун с бирючем. Другая

реформа, которая собственно и санкционируется грамотой 1564 г., состоит в новом порядке обложения. Мы узнаем о недовольстве населения старой произвольной системой "разрубов", т. е. раскладки тягла. Отныне разрубы производятся не вотчинной властью, а выборными от населения: по 2 от "лучших", от "средних", от "меньших" крестьян и от "казачков". Здесь мы наблюдаем начало того самоуправления на монастырских землях, которое для боярских крестьян на Севере наступило уже давно: с тех пор, как "извелись" новгородские бояре, и бывшие их холопы и "дворяне" сделались "государевыми сиротами", т. е. свободными государственными крестьянами. Вместе с тем это явление нельзя не сопоставить с политикой самоуправления и самообложения городских и уездных миров, проводимой в первую половину царствования Грозного.

Из частных статей Сумской грамоты интересны особенно две. Одна из них стремится привлечь к обложению подростков: "А у которых земских людей дети или племянники, и будут поспели промышлять зверей, и птицу, и рыбу ловити, и ягоду и губы (грибы) брати, и вы бы на тех клали против (наравне) казаков, по рассуждению, кто чего достоин". Другая статья касается крестьянского солеварения. "Во всех наших деревнях цреном (сковородой) варили зимой и летом 160 ночей, а дров к црену сечь к зимней и летней вари на год 600 сажен, запасть дров на один год, а вперед на другие годы не запасть; а кто станет лишние ночи варить и лишние дрова сечь, на того полагать пеню, а лишнюю соль и дрова брать на монастырь". Это ограничение крестьянского солеварения, по всей вероятности, имело целью обеспечение интересов вотчинного промысла.

Уже из содержания отдельных статей уставных грамот можно видеть, что интересы земледелия здесь не на первом плане. Деревня монастыря, как и хозяйство его на островах, преимущественно промысловые. Скучная северная почва производит мало хлеба, да и то лишь овес и ячмень. Прокормить местное население может только торговля с хлебородными южными областями. Важнейшим предметом этой торговли является соль: отсюда солеварение едва ли не главный источник соловецкого богатства. Производство соли и торговля ею в значительной мере централизованы в руках монастыря. Ежегодно караваны судов поднимаются по Двине в Холмогоры, Устюг Великий, Тотьму вплоть до Вологды и возвращаются оттуда, груженные хлебом. Вологда приобрела значение важнейшего складочного пункта в торговле между "Низом" и "Поморьем". Подворье, выстроенное св. Филиппом в Вологде, должно было обслуживать приказчиков и рабочих людей монастыря, занятых соля-

ным торгом. О размерах этой торговли дают понятие следующие цифры. В середине XVI века монастырь продавал 6.000 — 10.000 пудов соли, в середине XVII века — уже 130.000. Покупалось монастырем в конце XVI в. до 20 пудов воска и до 8000 четвертей (56000 пудов) ржи. Это количество показывает, что монастырь кормил не только сотни своих иноков и рабочих, но и тысячи крестьян. Кроме хлеба и воска, мы имеем известия, относящиеся как раз ко времени Филиппа, что в монастырь ввозились кожи и сукна. Словом, перед нами вырисовывается картина централизованного хозяйства. Соловецкая вотчина это не ряд мелких крестьянских хозяйств, объединенных только в целях эксплуатации, как представляет проф. С. Ф. Платонов старинные боярские вотчины новгородские. Если производство остается, в значительной мере, мелким, крестьянским, то хозяйство, несомненно, крупное и даже построенное на капиталистических началах. Это не простое "кормление" от земли, непосредственная добыча почвенных богатств. Торговля — и при том дальняя, организованная, плановая торговля — является кровеносной системой вотчинного организма. С этим связана денежная форма всех повинностей монастырского населения, исключая представление о "натуральном" хозяйстве. Но, если монастырь во вне выступает с чертами капиталиста, то внутри своих владений он остается вотчинником патриархального типа. Он вносит нравственные начала в отношения к зависимому населению. Оно для него является предметом не эксплуатации, а отеческой опеки и воспитания.

Вся эта система не только легла на плечи игумена Филиппа, но в значительной мере является его созданием. Именно на его время падает огромное увеличение монастырских владений и вызванная им кодификация вотчинного права. Св. Филипп, когда-то уклонявшийся от тягот управления, вырос за несколько лет в образцового администратора, повернувшись к нам новой стороной своей личности. Живи он в конце XVI века, ему пришлось бы с качествами хозяина соединить таланты стратега или, по крайней мере, военного инженера. Но оборона Соловков от "каянских немцев", т. е. шведов, начинается только с 70-х годов. Монастырь обнесен своими циклопическими стенами из дикого камня только при Федоре Ивановиче (1584 — 1594). С конца XVI века Соловки являются уже первоклассной крепостью, обороняющей северные рубежи московского государства. При игумене Филиппе, по счастью, буйные команды стрельцов и пушкарей не тревожили тишины келий, внося с собой начала разложения уставной кинувийной жизни. Ничто не нарушало еще строгой трудо-

вой дисциплины и молитвенного покоя. О молитвенных подвигах игумена Филиппа мы, к сожалению, знаем много меньше, чем о его хозяйственных предприятиях. Но это случайное обстоятельство не должно для нас искажать его образа. Закончим наше описание Соловецких лет Филиппа немногими известиями, характеризующими его религиозное настроение. Часть этих известий относится, правда, к внешнему благочестию: мы видели его любовь к постройке и украшению храмов, его вклады в монастырь и пр. Особенно подчеркивается его ревность к памяти святых основателей монастыря. Он нашел чудотворный образ Одигитрии, принесенный на остров преп. Савватисом и поставил над гробницей святого, а его каменный крест — в часовне, где покоится его сподвижник, св. Герман. Он исправил пришедшую в ветхость псалтырь, принадлежавшую преп. Зосиме, и любил совершать богослужение в его убогих ризах. Велел дополнить житие угодников описанием чудес, совершившихся в его годы при их гробницах. Драгоценнее для нас другое. Мы слышим, что игумен любил уединяться время от времени в пустынную келью для молитвы и созерцания. Пустынь Филиппова в двух с половиной верстах от обители до сих пор напоминает о месте его уединения. Конечно, только молитва могла восстановить равновесие духовной жизни, нарушаемое постоянной тяжестью административных и хозяйственных забот. За мельницами и солеварнями мы не должны проглядеть скромной деревянной пустыньки, спасавшей Филиппа от власти суеты, сохранившей в хозяине монаха и воспитавшей его для последнего мученического подвига.

Между тем, самое служение игуменское, поднятый им хозяйственный труд, неведомыми для него самого путями, готовил святому мученический венец. Игумен великой северной обители не мог остаться незнакомым царю. Отсюда начало благоволения к нему Грозного, приведшего к трагическому концу.

Мы уже встречались с крупными земельными пожалованиями Ивана Васильевича монастырю. Некоторые из них были безвозмездны, являясь вознаграждением за отнятое у монастыря право беспошлинной торговли солью, или связывались с обязательством для монастыря поднять запущенную и необработанную землю. Но все же нельзя отрицать особой щедрости царя к далекой обители. О ней свидетельствуют, помимо земельных пожалований, и личные вклады царя в монастырь. Особенно крупное пожалование (в 1000 рублей) сделал царь на постройку Преображенского собора. Игумен сам неоднократно просил его помощи в своих обширных строительных работах. Известны и дары

государя в монастырскую ризницу: в виде утвари, сосудов, крестов. В монастыре до последнего времени сохранялись три напрестольных креста, подаренные Грозным, — все золотые, украшенные яхонтами, жемчугом и другими камнями, один около трех фунтов весом. Подписи на них указывают время и титул жертвователя. Два из них относятся ко времени Филиппа. Среди подарков царя наше внимание привлекает и одна редкая книга — перевод Иосифа Флавия "Об иудейской войне", показательная, впрочем, не для научных интересов соловецкого игумена, а для "гуманистических" вкусов самого Грозного.

Если Грозный и сохранил с детских лет воспоминание о Федоре Кольчове, то соловецкого игумена царь имел случай видеть и оценить в самой Москве. Сохранилось известие о том, что соловецкий игумен был в Москве на соборах 1550 и 1551 гг. Из этих поездок Филипп привозил в Соловки и царские подарки: два атласных лазоревых покрывала на гроб чудотворцев и два облачения из белой камки, унизанное жемчугом.

Для самого Филиппа пребывание в Москве в эти годы не могло пройти бесследно. После тринадцатилетнего отсутствия он снова погрузился в круг московских общественных дел. За Соловецким монастырем опять встала Русь — в один из напряженнейших моментов ее истории. Москва, казалось, переживала эру полного обновления. Готовясь к победоносному завоеванию Казани, накануне небывалого расширения русской мощи на востоке, царь Иван Васильевич, в союзе с "избранной радой", руководимой Сильвестром и Адашевым, лихорадочно проводил земские реформы. Отмена кормлений, широкое самоуправление волостей, пересмотр Судебника, реформа финансов и военно-поместной системы следовали одно за другим. Эта напряженная реформаторская работа была проникнута высоким моральным пафосом. Царь "бил челом и с бояры своими о своем согрешении". Каясь сам, он требовал покаяния от всей земли, примирения сословий, забвения старых обид, особенно боярских, за время своего малолетства. И, наконец, царь задумал и провел на Стоглавом соборе всестороннюю церковную реформу. Вопросы церковного управления и обряда, всевозможные нестроения в церковной жизни, особенно монастырской — были поставлены перед собором в вопросных пунктах царя. Ему же царь представил для оценки новый Судебник и Уставные грамоты земского самоуправления. Иван еще не делал разницы между мирским и духовным, царским и святительским. "Рассудите и утвердите по правилам св. апостолов и по прежним законам праотцев наших, чтобы всякие обычаи строились по Боге

в нашем царствии". Церковь призывалась освятить дело всенародного обновления.

Соловецкий игумен должен был участвовать в работах Стоглавого собора 1551 г. в числе других настоятелей, "духовных отцов" и даже "пустынников", собранных царем. Филипп уезжал из Москвы, несомненно обогащенный государственным и церковно-общественным опытом, пройдя краткую, но серьезную школу архипастырства. Будущее представляется безоблачным для современников этой великой эпохи. Ничто не предвещало грозы.

Как ни далек был от Москвы Соловецкий монастырь "на студеном море, край Корельска языка, в Лопи дикой" (слова Курбского), но он находился, как мы уже видели, в постоянных сношениях со столицей. Сюда должны были доходить, хотя с некоторым запозданием, вести о московских делах. Приносили их богомольцы, постриженники, торговые люди монастырские, и, наконец, опальные, заточенные в монастырь по царскому или соборному указу. Из этих ссыльных соловчан нам известны двое лиц в настоятельство Филиппа: Артемий, игумен у Троицы-Сергия, и знаменитый священник Сильвестр.

Игумен Артемий был запутан в дело о ересьх Матфея Башкина и осужден на соборе 1554 г. вместе с другими единомышленниками последнего. Это одна из последних волн того религиозного рационализма, который поднят был на Руси в конце XV века ересью жидовствующих. Артемий, собственно, не был уличен в ереси. Ему удалось опровергнуть показания многих свидетелей; в вину ему поставлены только нарушения постов и критические суждения, резавшие благочестивые уши. "Артемий говорил о Троице: во Иосифове деи книге Волоцкого написано негораздо, что послал Бога в Содом двух ангелов, сиречь Сына и Святого Духа; да Артемий же для еретиков ноугородских не проклиняет, а латынь хвалит, и поста не хранит, во всю четыредесятницу рыбу ел, да на Воздвиженье деи у царя великого князя за столом рыбу ел же", и т. д. За все эти грехи Артемий был лишен сана и сослан в Соловки под надзор "духовного настоятеля игумена Филиппа". Его велено держать в строгом заключении, "в некоей келье молчальне", ни с кем не сообщается, кроме духовника и игумена, который должен его "наказывать и поучать от божественного писания". Обо всем сообщать в Новгород владыке Пимену, который должен отписывать в Москву. Подробная грамота собора соловецкому игумену, содержащая приговор и его мотивы, с показаниями всех свидетелей, сохранилась до нашего времени.

Мы не знаем, как отнесся св. Филипп к ссыльному игумену. Среди иерархов собора был один (Кассиан рязан-

ский), который держал сторону обвиняемых. Среди осужденных и сосланных собором "еретиков" был Феодорит, просветитель лопарей, постриженник Соловецкого монастыря, вскоре прощенный. Один из старцев соловецких Асаф Белобаев дал на соборе показание в пользу Артемия.

Как бы то ни было, охрана соловецкого узника была не слишком строгой. Вскоре ему удалось бежать. Пробравшись в Литву, он выступал в литературе, как защитник православия, особенно против Феодосия Косого, тоже московского беглеца, осужденного в связи с тем же процессом Башкина. Это доказывает, что ереси Артемия в Москве были, по меньшей мере, преувеличены.

Лет через шесть после Артемия один из обвинителей его должен был разделить его участь — заточение в Соловецком монастыре. То был знаменитый священник Сильвестр, о котором "Царственная книга" (официальная летопись) пишет, отражая раздражение царя на бывшего любимца: "всем он владел, обеими властями, и святительской и царской, точно царь и святитель, только имени и престола не имел царских, но поповские". Игумен Филипп должен был хорошо знать его в Москве, как истинного вдохновителя правительства в годы великих реформ. Ссылка его означала крушение столь торжественно ознаменованного единения царя, церкви и земли. Трещина в отношениях между царем и его любимцами, Сильвестром и Адашевым и их "избранной радой" возникла уже давно. Вскоре после завоевания Казани, царь, во время своей тяжелой болезни, с горечью убедился, что его любимцы поддерживают князя Владимира Андреевича, а не его сына, — боясь повторения боярских смут при малолетнем царе. Нелады Сильвестра с царицей, с ее родней, Романовыми, углубили охлаждение. Царь все больше тяготился моральной опекой строгого протопопа. Ему казалось, что "избранная рада" (она же "собацкое собрание") снимает с него всю власть. С бесхарактерностью слабых натур он долго терпел окружение неугодных ему лиц. Коренное расхождение во взглядах на Ливонскую войну (1558) делало сотрудничество невозможным. Царя мучили странные подозрения: бояре вместе с Сильвестром извели жену, "разлучили его с голубицей". Начались опалы, казни: Адашева спасла от палачей его смерть, Сильвестра, по-видимому, судили на соборе, ставя ему в вину отравление царицы. Самая легкость наказания, ссылка в монастырь, показывает, что этим обвинениям никто не верил.

В лице Сильвестра св. Филипп увидел в Соловках человека, который, как никто другой, мог осведомить его о московских делах. Мы можем догадываться, что они едва ли

расходились в оценке положения. Филипп должен был вместе с Сильвестром оплакивать нравственное падение царя: разврат, бесчинства, казни, принимавшие характер кровавых оргий. В годы, предшествующие учреждению опричнины, 1560-1564, казни были не часты, но впечатление их на современников было тяжелое. Жертвами падали иногда люди достойные (кн. Репнин), или ни в чем неповинные (родственники Адашева).

Со времени учреждения опричнины (январь 1565 г.) казни принимают массовый характер. О многих убиенных ходили рассказы, рисовавшие их мучениками, почти святыми. Говорили, что Дмитрий Шевырев, посаженный на кол, "воспевал канон из уст Господу нашему Иисусу Христу и пречистой Богородице и акафисты"; молодой Горбачев перед казнью, взяв в руки уже отрубленную голову отца, молился, благодаря Бога, "иже сподобил еси нас неповинным убиенным быти".

Отношение Соловецкого игумена к новому страшному институту было вполне определенным. Скоро предстояло ему защищать свое убеждение всенародно, в самой Москве. Весной 1566 г., когда митрополит Афанасий оставил кафедру, св. Филипп получил царскую грамоту с приглашением в Москву "для духовного совета". Догадывался ли он, что царь предназначает его в преемники ушедшему владыке? Грамота царя могла быть простым приглашением на земский собор, который, как известно, созывался летом 1566 г. К этому вопросу мы вернемся в следующей главе.

Игумен простился с плачущей братией. Впрочем, слезы не у всех были искренними. Кое-кто без сожаления расставался со святым игуменом. В Москву Филипп ехал опять через Новгород, той же дорогой, как пришел в Соловки. Вероятно, он хотел встретиться с архиепископом Пименом, но не застал его в епархии: Пимен был уже в Москве. Говорят, что граждане новгородские вышли ему навстречу за три версты, с хлебом, солью, умоляя его ходатайствовать перед царем за "свое отечество", за великий Новгород, над которым уже навис царский гнев. Возможно, что житие здесь предвосхищает и высокий жребий Филиппа и трагическую участь города, родного ему по крови предков.

Слушая стоны земли и готовясь мужественно представить за нее перед царем, ехал Филипп в Москву, где ждали его белый клобук и венец мученика.

ГЛАВА III

ЦАРЬ И СВЯТИТЕЛЬ

1. С В. ФИЛИПП — МИТРОПОЛИТ

Как складывались в Москве отношения между царем и первопрестольным святителем, кафедру которого было предназначено занять Филиппу? Мы оставили дела московской митрополии в тот момент, когда юный Колычев оставил Москву: при митрополите Данииле, учительном и книжном, но угодливом иерархе, правившем из рук великого князя. В малолетство Грозного боярские партии обнаружили еще меньше уважения к церковной власти, чем государи. Даниил был сведен Шуйскими в 1539 г. и сослан в Волоколамский монастырь, где прежде был игуменом. Задним числом его заставили подписать грамоту, в которой он отрекался от кафедры, "рассмотрев разумения свои немощна к таковому делу и мысль свою погрешительну" — унижение, от которого в свое время избавили даже заведомого еретика Зосиму, сведенного с митрополии "по болезни". Та же участь постигла преемника Даниила Иоасафа, поставленного из игуменов Троицко-Сергиева монастыря. О соборном избрании его историк русской церкви, митрополит Макарий, замечает: "Святители немало погрешили в том, что вероятно, уступая давлению мирской власти, избрали и поставили нового митрополита прежде, нежели прежний отрекся от кафедры". Поставленный Шуйскими, Иоасаф навлек их гнев, перейдя на сторону Бельских. Во время последовавшего переворота, организованного Шуйскими, митрополит подвергся тяжким унижениям и насилиям. Заговорщики окружили его келью, бросая в нее камнями, преследовали его во дворце, оборвали на нем его

мантию, едва не убили. Сверженный митрополит скончался в Троицком монастыре.

Время митрополита Макария (1542 — 1564) в печальной истории церковно-государственных отношений XVI в. является эпохой счастливой реакции. Давно уже духовная власть на Руси не стояла на такой высоте. Хотя и обязанный своим избранием мятежу Шуйских, испытавший в первые годы немало обид от боярского самовластия, Макарий сумел удержаться, не гнувшись перед сильными и выступая миротворцем в дворцовых смутах. Заступничая перед боярами за лиц, имевших несчастье возбудить их ненависть (Воронцова), он с равным беспристрастием печаловался за опальных бояр перед государем, который уже свергнул с себя боярскую опеку. Влияние Макария на молодого царя было велико и благотворно. Митрополит был ученым книжником своего времени, десятки лет работавшим над своим огромным трудом, *Минеями-Четьями*, в которых он задумал собрать все "чтомыя книги, яже в русской земле обретаются". Близкому общению с ним Грозный, без сомнения, обязан своим блестящим образованием, своими широкими историческими идеями. Других учителей у него не было. Моральное и общественное влияние Макария впоследствии было подкреплено несравненно более энергичным и властным влиянием Сильвестра. Достоинно замечания, что Сильвестр был одним из новгородских сотрудников Макария, вместе с ним пришедшим в Москву. В лице их, как впоследствии в лице св. Филиппа, культурное и свободное влияние Новгорода благотворно сказалось в деморализованной Москве. Но митрополит Макарий, в отличие от "избранной рады", был не политиком, а человеком кабинетного, или келейного труда. Он не навязывал царю своих взглядов, а потому сумел сохранить свой моральный авторитет и после падения рады. Его заступничество за опального Сильвестра не имело успеха, но царь до конца его жизни сохранял уважение к владыке. Случалось, что он принимал его ходатайства и оказывал милость своим действительным или мнимым врагам "для отца своего митрополита Макария". В 1556 г. Иван писал казанскому архиепископу Гурию: "О Боже, как бы счастлива была русская земля, если бы владыки были таковы, как преосвященный Макарий да ты". Впрочем, с годами эта благодарная роль ходатая перед потерявшим нравственное равновесие государем становилась все труднее. Люди нетерпеливые, вроде князя Курбского, упрекали митрополита в слабости. Макарий неоднократно помышлял об уходе, как свидетельствует сам в своем духовном завещании, но оставаясь, склоняясь на просьбы государя и церкви. Наконец,

смерть освободила старца от его трудного служения (31 дек. 1563).

Преемником ему был избран инок Чудовского монастыря Афанасий, духовник государя. Перед избранием его царь пожелал украсить новой честью престол московской митрополии, и собор в феврале 1564 г. определил будущему митрополиту носить белый клобук (вместо черного) "с рясами и херувимом" и печатать грамоты красной печатью, по примеру архиепископа новгородского. Эти внешние отличия были плохим вознаграждением за то падение духовного авторитета, которым отмечено кратковременное (2 г) правление Афанасия. Раздраженный изменой Курбского, замышляя небывалую расправу с боярством, царь хотел решительно и принципиально сбросить с себя реолигиозно-моральную узду церкви, прежде всего в лице митрополита. Такой смысл имела трагикомедия отъезда царя в Александровскую слободу, предшествовавшая учреждению опричнины. В грамоте, которую царь прислал из слободы в Москву с изложением причин своего гнева на всю "землю", на все правящие круги, духовенство стоит на первом плане: "Царь и великий князь гнев свой положил на своих богомольцев, на архиепископов, и епископов, и на архимандритов, и на игуменов, на бояр своих, и на их дьяков, и на детей боярских, и на всех приказных людей"... Охарактеризовав своеволие и своекорыстие бояр, царь продолжает: "И в чем он государь бояр своих, и всех приказных людей, также и служилых князей и детей боярских похочет и понаказати и посмотреть; и архиепископы, и епископы, и архимандриты, и игумены, сложась с бояры и с дворяны, и с дьяки, и со всеми приказными людьми, почали по них же государю и великому князю покрывать". Ввиду всего этого царь объявлял, что он "оставил свое государство и поехал, где вселитися, идеже его государя Бог наставит".

Церковь была единственной силой, которая могла ограничить произвол царя. Со стороны правящего класса, тем более со стороны народных масс, Грозный не мог ждать противодействия своим кровавым мероприятиям. Право на "опалу", право казни признавалось за царем всеми. Только церковь, если не оспаривала право, то указывала царю его долг, или взывала к милосердию, которое выше права. Именно для того, чтобы сбросить с себя эту последнюю докучную узду, Ивану понадобилась комедия с отречением от царства, которая кончилась формальным подтверждением за ним неограниченного права казней.

Епископы, во главе с Новгородским Пименом (митрополит остался стеречь Москву) и бояре, от имени всего народа, умолили государя вернуться и править по всей его во-

ле. Это было со стороны церкви отказом от древнего права печалования. Впрочем, мы имеем от следующих лет две записи с подписью митрополита Афанасия и других епископов и бояр, за двух опальных вельмож: Ив. Петр. Яковлева и кн. Мих. Ив. Воротынского. Царь жалует, "отдает вины" своих провинившихся слуг "для прошения отца своего Афанасия" (1565 — 1566 г). Это показывает, что и Афанасий не остался вполне равнодушным к разгулу опричнины. Но его добрая воля была сломлена уже капитуляцией в Александровской слободе. Возвращение царя в Москву было ознаменовано небывалыми и утонченными казнями. Церковь безмолствовала. Но через год силы владыки иссякли. Он оставил митрополю 19 мая 1566 г. "за немощию велиею", чтобы вернуться в свой Чудов монастырь. Тогда-то царь призвал Филиппа.

Впрочем, быть может, он сделал еще один опыт. По крайней мере, курбский сообщает, что ранее Филиппа царь обратился к Герману, архиепископу Казанскому, впоследствии причисленному к лику святых, и умолял его принять избрание. Курбский уверяет даже, что Герман был "собором принужден к сему", т. е., что выбор его уже был проведен в соборе. Нареченный митрополит жил, "как говорят", уже два дня на митрополичьем дворе, все еще не решаясь принять тяжелое бремя, когда между ним и царем произошел разрыв — как раз по поводу опричнины. В беседе с царем наедине святитель "тихими и кроткими словесы" напоминал царю о страшном суде Божьем, взыскующем со всех, "царей яко и простых". Иван вернулся к своим "ласкателям", передал им об этой беседе и встретил с их стороны общее негодование: "Боже сохрани тебя от такого совета. Опять ли хочешь, царь, быть в неволе у того епископа, еще горшей, нежели был ты у Алексея и Сильвестра столько лет?" Алексей Басманов с сыном обнимали даже его колена, умоляя царя не поддаваться на внушения митрополита. Намек на опеку Сильвестра, тягостный для самолюбия царя, возымел свое действие. Иван велел прогнать Германа из церковной палат со словами: "Еще и на митрополю не возведен, а уже связываешь меня неволей". Курбский заканчивает свой рассказ сообщением о том, что через два дня казанский архиепископ был найден во дворе своем мертвым — одни говорят от яда, другие — от удушения. Здесь Курбский явно ошибается. Архиепископ Герман участвовал 25 июля в поставлении митрополита Филиппа и скончался 6 ноября 1567 г. Эта ошибка набрасывает тень на рассказ Курбского. Впрочем, все русские историки принимают самый факт избрания Германа. Речи "ласкателей" и Грозного психологически очень метки; если и вымышлены, то прекрасно рисуют

большое место царя, на котором играют опричники. Переписка Грозного с Курбским говорит о необычайной его чувствительности к попыткам морально "связать" его. Наконец, избрание Филиппа дало место для аналогичных сцен, закрепленных даже в официальном акте.

Летом того же 1566 г. в Москве заседал "земский собор", по вопросу о продолжении Ливонской войны, в связи с предложенными польским королем условиями перемирия. В приговоре, поданном 2 июля на первом месте идут имена многочисленных духовных особ, 9 епископов и многих игуменов, даже простых монахов. Первыми подписались Пимен Новгородский и Герман Казанский. Среди игуменов отдаленных, Новгородских и Псковских, монастырей мы не встречаем подписи игумена Соловецкого. В это время он должен был находиться по пути к Москве. Духовенство, участвующее в этом земском соборе, совещаюсь и подавая свой голос отдельно, всегда могло конституироваться в настоящий церковный собор для избрания митрополита. В это именно время, до или после политического совещания, собор мог избрать Германа. Соображения времени заставляют думать, что игумен Филипп получил приглашение в Москву тогда, когда еще не выдвигалась его кандидатура на митрополичью кафедру. Опоздав на политическое совещание, он прибыл в Москву как раз вовремя, чтобы царь, после ссоры с Германом, остановил на нем свой выбор. Таково наиболее вероятное толкование событий, если мы не желаем совершенно отбросить рассказ Курбского. Принимая его, мы стоим еще перед одной трудностью, на этот раз психологической. Что заставило Грозного обратиться именно к Филиппу, после неудачной попытки с Германом? В лице Германа он звал на митрополию святого. Требования, поставленные этим святым, оказались для царя неприемлемыми. Неужели он ожидал, что Филипп будет покладистее? И как мог он столь жестоко обмануться в новом своем избраннике?

Думается, мы совершим несправедливость по отношению к сложному характеру Грозного, объясняя его поступки одними низменными побуждениями. Противоречия внутренних мотивов необычайно характерны для царя, который всегда соединял свои злодеяния со страстной набожностью. Грозный, несомненно, ревновал о чистоте и благолепии церковном — внешнем и внутреннем. Его обличения современных монахов, в своей недоброй иронии, продиктованы тою же ревностью. Он хотел видеть святого пастыря на кафедре Успения Богоматери. Это несомненно. Но столь же несомненно, что он желал сохранить для себя полную свободу действий; желал иметь в святом молитвенника, но

не судью своей совести. Вот почему, после опыта с Германом, он не обращается ни к Пимену, ни к одному из покладистых иерархов, а ищет достойнейшего — и находит его в лице давно знакомого ему игумена Соловецкого.

Избрания митрополитов при Грозном совершались на соборах, т. е. внешне канонически, и, однако, определялись всецело волею царя. Эта царская воля выдвигается на первый план и в необычном официальном акте, составленном при избрании Филиппа. Ввиду исключительной важности этого документа, позволяем себе привести его целиком:

"Лета 7074 (1566) Июля 20, понуждал царь и великий князь Иван Васильевич всея России со архиепископы и епископы и с архимандриты и со всем собором боголепно-го Преображения Господа Нашего Иисуса Христа и великих чудотворцев Зосима и Савватия Соловецких игумена Филиппа на митрополию. И игумен Филипп о том говорил, чтобы царь и великий князь оставил опришнину; а не оставит царь и великий князь опришнины, и ему в митрополитах быти невозможно; и хотя его и поставят в митрополиты, и ему затем митрополию оставити; а соединил бы воедино, как прежде было. И царю великому князю с архиепископы и епископы в том было слово, архиепископы и епископы царю и великому князю о том били челом о его царском гневу; и царь и великий князь гнев свой отложил, а игумену Филиппу велел молвити свое слово архиепископом и епископом, чтобы игумен Филипп то отложил, а в опришнину и в царский домовый обиход не вступался, а на митрополью бы ставился; а по поставленьи бы, что царь и великий князь опришнины не оставил, и в домовый ему царский обиход вступаться не велел, и за то бы игумен Филипп митропольи не отставливал, а советовал бы с царем и великим князем, как прежние митрополиты советовали с отцом его великим князем Иваном. И игумен Филипп по царскому слову дал свое слово архиепископом и епископом, что он, по царскому слову и по их благословению на волю дается стати на митрополью, и в опришнину ему и в царский домовый обиход не вступатися, а по поставленьи за опришнину и за царский домовый обиход митропольи не отставливати. А на утверждение к сему приговору нареченный на митрополью Соловецкий игумен Филипп и архиепископы и епископы руки свои приложили" (Следуют подписи).

Из этой официальной записи видно, что избрание Филиппа сопровождалось бурными сценами. "Царский гнев" вызван тем, что Филипп обусловил свое согласие определенным требованием: отмены опричнины. Мотивировка

его показывает прекрасную осведомленность соловецкого игумена в событиях русской жизни последних лет. "Если его и поставят на митрополию, ему придется все равно ее оставить". В этих словах говорит опыт двух или трех последних митрополитов. При опричнине не может быть нормальных отношений между властью святительской и царской; митрополит не сможет нести своего церковно-общественного служения. Царь этого условия не принял, но сделал уступку, скрытую в авторитетной форме "веления": он разрешил Филиппу "советовать", как прежние митрополиты "советовались с его отцом и дедом". Этим восстанавливалось право печалования, уничтоженное в 1565 г., со введением опричнины. На таких условиях св. Филипп позволил уговорить себя иерархам, — принял избрание, дав слово "не вступаться в опришнину". Самое составление дошедшего до нас протокола, скрепленного подписями членов собора и нареченного митрополита, имело, конечно, целью закрепить обязательство митрополита перед царем. Этим актом Иван хотел обезопасить себя на будущее от возможных вторжений святителя в ту область, на которую он смотрел, как на свой "домовой обиход". Надо думать, что на Филиппа было оказано сильное давление со стороны иерархов, и он уступил ему. Нельзя не обратить, однако же, внимания на то, что среди подписей владык отсутствуют имена двух, которые, по всей вероятности, были в Москве, потому что в начале июля подписались под определением земского собора, а через пять дней, после избрания Филиппа, участвовали в торжественном его поставлении. Эти отсутствующие подписи — Германа Казанского и Елевферия Суздальского. Имя св. Германа, только что мужественно обличавшего царя, позволяет догадываться, что не все епископы склонны были благословить эту капитуляцию избранного митрополита перед царем. Для них, как и для Филиппа, опричнина, вероятно, представлялась слишком серьезным препятствием к миру в царстве и в церкви.

Уступчивость Филиппа можно объяснить, конечно, влиянием большинства иерархов, в которых скоромный соловецкий игумен должен был видеть голос русской церкви. Можно объяснять ее и уступчивость царя. Филипп отказался бороться против опричнины, как института, но не отказался бороться против ее злоупотреблений. Возвращенное церкви право печалования давало ему некоторую надежду на смягчение ужасов опричного режима. Так мы вправе истолковать его избирательную капитуляцию.

Но, толкуя ее так, относясь с благоговением к чистоте одушевляющих его намерений, нельзя не остановиться перед этим фактом колебаний, уступок, как бы некоторой сла-

бости, проявленной святителем на пороге его нового служения. Июльские дни его жизни поразительно напоминают первые дни его игуменства в Соловках. Эти драгоценные черточки столь бледно вырисовывающегося его портрета, говорят все о том же: в природе Филиппа не было энергичной властности, уверенности в себе, твердого знания своих целей и средств... Его первое движение — бежать от тяжкого бремени. Но раз приняв его, он несет мужественно и верно. Его силы растут под тяжестью ноши, раскрываются новые, неподозреваемые нами стороны личности: Филипп — хозяин соловецкий кажется совсем другим человеком, чем Филипп — страдалец за всю русскую землю. Но он все тот же. Сила Божия совершилась в немощах и благодать восполнила естественную скудость.

Через четыре дня после подписания избирательной грамоты, 24 июля, состоялось официальное избрание Филиппа царем, со всем освященным собором. "И возведоша его того дня на митрополич. двор". А еще через день, 25 июля, совершилось торжественное поставление нового митрополита в Успенском соборе. До нас дошел чин этого торжественного действия, как оно совершалось в Москве в XVI столетии. Заимствуем подробности в изложении митр. Макария:

"В день, назначенный для поставления митрополита, устроили в Успенском соборе впереди амвона особое возвышение и на нем ставили два седалища, с правой стороны для государя, а с левой для архиепископа (Новгородского, старейшего в русской церкви. Г. Ф.) и по обе стороны, несколько пониже, ставили длинные седалища для епископов, а перед возвышением на полу начерчивали большого орла с распростертыми крыльями. Перед литургией выводили нареченного из алтаря в полном облачении и ставили на орла. По окончании трисвятой песни, рукополагали его во епископа-митрополита, и он уже сам продолжал и оканчивал литургию... По окончании литургии, святители брали нового первосвятителя под руки, вели на возвышение среди церкви и там три раза сажали его на место, произнося: "исполла эти, деспота", — после чего митрополит разоблачался, и на него возлагали святители панагию, мантию с источниками и белый клобук и отводили его на его митрополичье место каменное. Тогда приближался к митрополиту государь и вручал ему архипастырский посох (принадлежавший некогда св. Петру Московскому. Г. Ф.), со словами: "всемогущая и животворящая св. Троица, дарующая нам всея Руси самодержавство Российского царствия, подает тебе сей св. великий престол великого чудотворца Петра архиерея, митрополью всея России, Российского царства,

рукоположением св. отец, архиепископов и епископов русского нашего самодержавного Российского царствия. И жезл пастырства, отче, восприими, и на седалище старейшинства възди и моли Бога и всех святых о нас и о наших детях и о всем православии, и яже на пользу и всему православному христианству душевне и телесне; и подаст ти Господь Бог здравие и долголетствие во веки века, аминь". Митрополит отвечает государю так: "Всемогущая и вседержавная десница Вышнего да сохранит Господь Бог поставленное твое Российское царство, самодержавный царю и владыко. Мирно да будет и многолетное твое государство, и победно со всеми повинующимися тебе пребывает во веки и в век века... Здрав, здрав, здрав, добро творя, животоносен владыко самодержец, многолетен".

По выходе из храма, митрополит, облаченный в мантию, принимал от протоиерея воздвизальный крест животворящего древа, садился на приготовленное ося и ехал во двор великого князя, чтобы преподать ему благословение; а ося под митрополитом вели конюший великого князя и боярин митрополичий; перед ними шли два хора певчих — певчие государевы и митрополичьи, и пели стихи, пред певчими же шли четыре священосца с пальмами. От государя, точно таким же образом, ехал митрополит в собственный двор, где благословлял святителей и духовенство, потом ехал вокруг кремля и благословлял народ и весь город, снова заезжал к государю и возвращался в свои палаты, где и предлагал трапезу всем участникам торжества; иногда же трапеза эта предлагалась самим государем в его собственных палатах".

Такое торжество происходило в Москве 25 июля 1566 года. Девять архиереев участвовало в нем; на этот раз ни Герман, ни Елевферий не уклонились. Первоприсутствовал Пимен. Св. Филиппу суждено было принять омофор из рук епископа, который сделался его предателем, и посох из рук царя, который убил его. Житие влагает в уста Филиппа назидательную речь к царю, произнесенную им в этот день. Так как она не носит характера подлинности, то мы рассмотрим ее ниже, вместе с другими, в которых можно искать отражение его взглядов.

Торжества окончились, и для с. Филиппа начались труды его нового служения. Казалось, что мрачные предчувствия, владевшие им во время избрания, рассеиваются. Провидению угодно было отсрочить на время его исповедническую жертву. Ужасы опричнины смолкли; в течение полутора лет мы не слышим о казнях в Москве. Конечно, разрушительное учреждение продолжало действовать, отравляя и разлагая все народное тело, но наверху, в непосредственной

близости к царю отдыхали от крови. Несомненно, мужественное выступление, одного за другим, двух иерархов, двух святых, не могло пройти бесследно на впечатлительную душу царя. Была и другая причина его сдержанности. На земском соборе только что все сословия выразили одинаковое понимание национальных интересов, одинаковую готовность принести все жертвы для государства. Ливонская война была одним из самых кровных дел Грозного. Из-за нее он рассорился окончательно с избранной радой. Единение в этом вопросе с народом — или с правящими, руководящими кругами народа — должно было успокоить подозрительность царя и смягчить его недоверие к "земщине". В Московском посольстве, которое повезло Сигизмунду-Августу неприемлемые требования царя, на первом месте называется боярин Федор Иванович Умного-Кольчов, двоюродный брат митрополита. Назначение его состоялось за несколько дней по поставлению Филиппа.

Сохранилось очень мало сведений об административной деятельности св. Филиппа как митрополита Московского. Давая общую оценку ее, житие св. Филиппа замечает, что он во всем старался подражать митрополиту Макарию, своему достойному предшественнику. По всему, что мы знаем о круге дел митрополичьего управления, можно сказать с уверенностью, что св. Филипп взял на себя бремя власти не только в Московской епархии, но и во всей русской церкви. Митрополит XV — XVI веков соответствовал патриарху XVII века. Он должен был ставить епископов во все епархии, наблюдать за деятельностью их, увещевать и исправлять путем посланий, вызывая их в случае надобности в Москву. Он не мог лишь судить епископов — право, принадлежащее собору. Но на митрополите лежала обязанность созыва соборов, и в XVI в. они созывались весьма часто, — как правило, раз в год, иногда и чаще.

Земельные вотчины митрополита еще в начале XVI века были разбросаны в пятнадцати уездах. В семи из них числилось 531 сел и деревень, 1818 душ крестьян. К середине XVI века владения эти сильно увеличились. Доходы их в конце века Поссевин определяет в 22000 талеров, а Флетчер в 3000 рублей (180.000 — 210.000 р. на деньги XIX века). Впрочем, владения и доходы Новгородского архиепископа намного превосходили доходы митрополита.

Если управление церковными имуществами требовало хозяйственного внимания, то немало времени поглощал и митрополичий суд. Круг его компетенции обнимал и духовные и светские дела. Как у простых епископов, у митрополита были свои бояре, свои дьяки, дворецкие и десяти-

ники — словом, целый аппарат управления, построенный по типу удельного княжества.

До нас дошли отрывочные свидетельства о некоторых повседневных актах административной деятельности митрополита Филиппа. Мы видим его посвящающим епископов (Полоцкого, Ростовского), освящающим храмы. Первые месяцы святительства Филиппова были омрачены страшным народным бедствием — чумой. От западных границ, охваченных войной, из армии, эпидемия приближалась к московским уездам. Люди во множестве умирали "от лихого поветрия". Потребовалось вмешательство митрополита для замещения беспоповных приходов: "Где попы померли и не было кому и мертвых погребати". 1 сентября болезнь объявилась в Можайске, угрожая самой Москве. Царь установил карантин, "заставу и сторожу", в чумной зоне, не велел никого пропускать оттуда в Москву и обратно. Весною 1567 г. поветрие на время прекратилось. Москву удалось спасти, благодаря энергичным мерам правительства.

Едва ли не единственным памятником хозяйственно-административных забот митрополита Филиппа остается жалованная грамота князя Владимира Андреевича Старицкого на имя митрополита. Грамотой этой все митрополичьи села и монастыри, лежащие в уделе князя освобождались от пошлин и кормов на удельный двор и от удельного суда, "опричь душегубства и татьбы с поличным". "А судит их отец наш Филипп митрополит всяя Руси, или его бояре". Может быть, в этом акте позволительно видеть след старой близости, связывавшей Старицких князей с Колычевыми. Отец Филиппа был верным слугой князя Андрея. Сын Андрея, влачащий свою жизнь под угрозой царских подозрений, проводивший мать в монастырь накануне собственной гибели, в этой грамоте выразил свою благодарность митрополиту за службу его отца.

Если так скудны памятники административной деятельности митрополита Филиппа, зато мы имеем свидетельства, показывающие, что он в кремлевских своих палатах не забыл о далекой северной обители, воспитавшей его духовную жизнь. Он должен был часто возвращаться мыслью к счастливым трудовым годам в Соловках и молить угодников соловецких о помощи и заступе среди тревог московской жизни. В митрополичьем доме он устроил домовую церковь во имя св. Зосимы и Савватия, которую его далекий преемник и почитатель, патриарх Никон, посвятил апостолу Филиппу, ангелу своего великого предшественника.

В Соловецком архиве сохранились четыре грамоты-

письма митрополита Филиппа — три в Соловки, а одна в Новгородское подворье монастыря. Они полны хозяйственных забот и указаний и дышат отеческим чувством игумена к оставленной обители. В первом письме Филипп извещает братию о своем избрании на престол всея Руси и предлагает им избрать игумена по своей воле, об утверждении которого он будет просить царя. Во втором перечисляет посылаемые в монастырь подарки. Тут и иконы, и кресты, и деньги, и "зелье": перец, шафран и имбирь. Оба эти послания адресованы братии, из которой по имени названы старцы Иона и Паисий. В одном из них имеем право видеть старого учителя и духовника Филиппова, другой — его преемник во игуменстве. Третье письмо в Новгород, старцу Исааку, посвящено условиям передачи в собственность монастыря усадьбы новгородца Тучки с обещанием просить у государя "тот двор и с садом обелити", т. е. освободить от податей. Все эти письма отправлены в первые дни святительства Филиппа. Четвертое письмо — 30 января 1568 г., в тяжелое время начинающейся борьбы с царем. И содержание его тревожно: видимо, добрые отношения между митрополитом и Соловками затуманились. Монахи на владыку "навели скорбь великую на Москве". Он выговаривает им за то, что они, послушавшись его, посылали ему в "поминки" рыбу... Да и рыба-то оказалась "мелка", а средней мало": т. е. святителю оказали явное невнимание, подчеркивающее официальный характер и без того запрещенных им "поминок". Другое, что огорчает митрополита, это судьба неоконченных при нем на Соловках работ. Он убеждает Паисия с братией очистить выкопанный при нем пруд ("святое озеро"). Не надеясь, что братия по собственной охоте будет продолжать начатое им дело, он обещает кормить своим хлебом рабоников: "а не пожалуете не дадите и так делати, и вы бы ко мне известно-ж учинили". Все письмо проникнуто горечью, которой не смягчают и присланные денежные подарки на стол братии. Мы не знаем причин охлаждения к бывшему игумену и митрополиту: одной ли хозяйственной нерадивостью заслужил он укор Филиппа? Как бы то ни было, письмо святителя должно было уязвить его. Скоро ему представился случай отомстить своему отцу.

Кроме этих писем, единственно дошедшая до нас грамота св. Филиппа адресована в Кириллов-Белозерский монастырь и, вероятно, представляет образчик писем, разосланных во все важнейшие монастыри осенью 1567 г., во время царского похода против Литвы. В нем говорит уже не бывший игумен, а глава русской церкви, в ее неразрывной связи с православным царством. Митрополит просит у

иноков молиться за царя с его семейством и за успех литовского похода. "Грех ради наших безбожных крымский хан Девлет-Кирей, со всем своим бесерманством и латинством, и литовский король Жигимонт-Август и поганые немцы во многие различные ереси впали, наипаче в лютерову прелесть, и святые христианские церкви разорили, и святым и честным иконам поругались... И слышав таковая, боговенчаный царь и государь великий князь Иван Васильевич, всея Руси самодержец, зело оскорбился и опечалился за святые церкви и за святые честные иконы... и по нашему благословиению и всего священного собора пошел со всем своим воинством на своих недругов, за святые церкви, и за святые честные иконы, и за нашу святую благочестивую христианскую веру греческого закона, и за свое царское отечество и обиду. Богом порученное ему российское царство отстоять не токмо до крови, но и до смерти".

Стиль этого послания митрополита вполне соответствует официальной идеологии военных предприятий Грозного. Царь любил облекать свои политические акты — напр., взятие Полоцка, — в форму священной войны против врагов веры и церкви, во имя торжества православия. Правительственная летопись сохранила нам яркие свидетельства этих настроений. Но начинавшийся в столь торжественной обстановке поход Грозного осенью 1567 г. протекал вяло и окончился ничем. Царь, лично принявший в нем участие, вернулся в Александровскую слободу без побед и без славы. Моральная помощь "земщины", декларированная в июле 1566 года, не принесла реальных результатов, на которые царь рассчитывал. Он искал теперь, на ком сорвать свое раздражение.

Опричный террор при Грозном имел свой ритм повышений и понижений. Карамзин насчитывал шесть "эпох казней". Иногда можно установить связь возрастающей волны террора с неудачами внешней политики. Бегство Курбского в Литву и его опустошительный набег на Великолуцкую область были прологом самого учреждения опричнины — "второй эпохи казней" (1565 г.). Неудачная кампания 1567 г. предшествует новой, еще более страшной волне, против которой пытался бороться св. Филипп, и которая улеглась не скоро после его кончины (1568 — 1571). Эта волна была самой кровавой из всех. Но прежде, чем перейти к событиям, повлекшим трагическое столкновение святителя с царем, уместно нарисовать в самых общих чертах, характер опричнины в действии, в ее бытовой обстановке и в ее принципах. Оппозиция св. Филиппа была направлена, как мы увидим, не только против эксцессов этого

учреждения, но и против самой системы. Необходимо отдать себе отчет в том, является ли св. Филипп, в своей борьбе против опричнины, выразителем христианской совести и голосом русской земли или, как думают многие в наше время, выразителем "реакционных" стремлений побежденного боярства.

2. ОПРИЧНИНА

В наше время вопрос об опричнине сделался одной из актуальных тем исторической науки. Последнее поколение русских историков заново пересмотрело его, с новой точки зрения, отчасти по новым материалам, и, кажется, удовлетворительно решило загадку, мучившую людей XVI — XVII века.

Теперь мы знаем, что это не только система террора, но и система управления. При самом учреждении этого института, в январе 1565 г., Грозный требовал себе от москвичей права "опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки (имущества) имати, и учинити ему на своем государстве опричнину: двор ему себе и на весь свой обиход учинити особойн". По возвращении царя сейчас же начинается эта огромная работа по построению "особого царского обихода". В опричнину берутся сперва 1000, потом до 6000 служилых людей, из низов этого класса, не связанных родством с княжескими и боярскими верхами. Для поселения им отводятся уезды в центре и на севере государства. Старые помещики выселяются на окраины. Эта переборка и переброска служилых людей длится много лет, составляя постоянный социальный фон для кровавых узоров террора. В Москве в опричнину берется ряд кварталов (на Арбате и соседних улицах) с выселением прежних владельцев. Сам царь оставляет Кремль и переезжает в новый опричный дворец, "у Ризположенских ворот" на Арбате. Все, не вошедшее в опричнину, официально называется земщиной. Опричная Россия, как и земская, возглавляется своими центральными учреждениями, приказами, имеет свою казну. Государство оказалось разрубленным на две части. Опричная часть, первоначально небольшая, неуклонно росла и охватила половину государства. Во главе земщины осталась старая боярская дума, в том же личном составе, с князьями Бельскими и Мстиславскими, во главе опричнины — царский двор, с его худородными дворянами (Вяземский здесь единственный князь). Государственный дуализм достиг

своего завершения, когда Грозный поставил во главе земщины (1575 — 7 гг.) крещеного татарского хана Симеона Бекбулатовича с титулом "великого князя всея Руси", а за собой оставил скромное звание "князя Московского". Этот маскарад, правда, длился недолго, но он знаменательно вскрывает политическую идею, лежавшую в основе опричнины.

Ясно, что политический смысл опричнины сводится к созданию нового управления и нового служилого класса, чуждых старым земским традициям, независимым от влияния боярства. Царь чувствует себя бессильным пересоздать старый порядок путем реформ или смены личного состава правящего класса. Он строит новую параллельную государственную организацию на новом месте, из новых людей. Парадокс этой революции в том, что направленная против остатков удельной традиции, она сама облекается в удельные формы. Самое слово "опричина" взято из удельного быта, означая в древности вдовью долю, отказываемую князем в духовном завещании своей вдове-княгине. Грозный настойчиво, хотя и лицемерно, подчеркивал фикцию, что опричина есть лишь его "домовой обиход", организация его двора, что в государстве, в "земщине", сохраняется старый порядок. "Ивашка", удельный князь Московский, пишет униженные челобития "великому князю всея Руси", прося его "милость ему оказать", "людишек перебрать"...

За мрачным шутовством здесь скрывается психология бессилия: бессилия перед силами традиции, перед вековым укладом, за которым стоят моральные силы народной совести и церкви. В духовном завещании Грозного 1572 г. это ощущение бессилия носит уже маниакальный характер. Царь изображает себя "изгнанным боярами и скитающимися по странам". Его сыновьям как будто бы предстоит еще "доступить свое государство". Словом, Грозный живет, если не в обстановке, то в психологии гражданской войны.

Политической задаче опричнины соответствовало и ее социальное содержание. Перемещение больших масс служилых людей из центра на окраины и обратно должно было разорвать хозяйственные и моральные связи между народом, крестьянским людом и потомками удельных "княжат". В старое время, присоединяя уделы и вольные русские земли, московское правительство "выводило" на Москву сотни лучших людей, разрушая аристократическую верхушку местного общества. Эта система "вывода" была применена Грозным почти ко всему составу служилого класса: не к одним лишь "княжатам" и боярам, а к целым уездам москов-

ского центра. Это был социальный переворот, захвативший все слои русского общества до самого дна.

Современники свидетельствуют, что операция "вывода" сопровождалась административными жестокостями, придававшими ей характер народного бедствия. Сгоняемым со старых гнезд помещикам "не позволялось брать ничего из движимого имущества". Их просто "выгоняли с женами и детьми на большую дорогу, и они принуждены были иногда брести пешком на новые места, питаясь подаянием". Разорение тысячи помещичьих хозяйств влекло за собой и разорение крестьянства. Новые помещики из бедноты, которые "теперь должны были выезжать в поле с 50, 100 и более коней и не имели в кошельках ни полушки, отнимали у бедных крестьян, отданных им, все, что у них было, в один год столько, сколько бедному крестьянину раньше не приходилось платить и в десять лет. По этой причине столько прекрасных имений было так быстро запущено и разорено, словно через них прошел неприятель".

В общей катастрофе всплыли наверх хищные, бессовестные люди из низов общества, нередко из инородцев, немцев, особенно татар, которые занимали места старого боярства. В этом заключался "демократический" смысл царской революции, не укрывшийся от современников. "Было много таких, — пишут немцы Таубе и Крузе, сами служившие в опричнине, — что раньше могли выезжать в поле с 200 — 300 коней, имели состояние во много тысяч гульденов, а теперь бродили по стране с нищенской клюкой, а другие, их бывшие холопы, не имевшие ни гульдена, теперь посажены на их места, в их поместья". И им вторит другой опричник Штаден: "Теперь с в. князем ходят новодельные господа, которые должны бы быть холопами тем — прежним".

Словом, перед нами настоящая социальная революция — произведенная верховной властью. Впрочем, цель ее только политическая: замена боярства новым служилым классом. Ради этой цели страна была подвергнута на десятилетия режиму террора, разорения, захватившего все слои общества. Хотя царь Иван и объявлял в январе 1565 г., что на гостей и купцов и все христианство никакой опалы нет, но на деле борьба с боярством в самом же начале выродилась в борьбу с земщиной. Следует помнить, что в понятие земщины входили все классы общества, вся старая, взятая под подозрение, Русь. До нас дошел (в немецком переводе) текст присяги, которую давал каждый, вступающий в опричный корпус. В ней он клянется "не есть, не пить, и не водить дружбы с земщиной". А немец опричник свидетельствует "Часто бывало, что, ежели найдут двух таких

(т. е. опричника с земским) в разговоре, — убивали обоих, какое бы положение они не занимали. Царь Иван психологически находился в состоянии войны со всей русской землей. Только этой психологией можно объяснить разгром Новгорода, Твери и множества других городов. Все своеобразие этой гражданской войны в том, что она односторонняя: завоевательные походы опричнины почти не встречают сопротивления; война сводится к резне и погромам.

Остановимся на обстановке и деталях этой гражданской войны, как она рисуется современниками. За последние годы русская наука обогатилась новым источником по опричнине, только что найденными записками опричника Генриха Штадена. В общем, эти записки подтверждают давно известные — Таубе и Крузе — в том, что касается функционирования опричной системы. Штаден был одним из палачей русской земли, и его наивно-циничные повествования о собственных подвигах не могут вызвать подозрений в пристрастности.

По свидетельству этих лиц, земщина получила от государя приказ в делах между земскими и опричными решать в пользу последних: "Судите праведно, наши виноваты не были бы". Существовал ли или нет такой приказ, но так, очевидно, понимали дело в Москве и по всей России. Это была отмена правосудия для половины страны и узаконение разбоя для другой. "Тогда-то из-за этого приказа земские и пали духом. Любой из опричников мог, например, обвинить любого из земских в том, что этот должен ему будто бы некую сумму денег. И хотя бы до того опричник совсем не знал и не видел обвиняемого им земского, земский все же должен был уплатить опричнику, иначе его ежедневно били публично на торгу кнутом или батогами до тех пор, пока не заплатит". Сам Штаден рассказывает, как он применял эту систему вымогательства к своему врагу — немцу, к соседке-торговке, к зажиточному крестьянину. Способ, которым он разоряет женщину, является классическим, по описанию Таубе и Крузе. Его слуга отдает рубашку на хранение в соседний дом и подсовывает золоченый кубок. Потом, в присутствии целовальника, производится обыск, находят рубашку и тащат хозяйку в Судный двор. "Мне было стыдно, что я поклепал напрасно эту женщину: в земщине она была моей близкой соседкой; ее первый муж был иконописец" (второй — торговец).

Этот пример уже показывает, что не одни бояре страдали от опричнины. В рассказах Штадена, как и Таубе, купцы постоянно фигурируют в числе жертв. Иначе и быть не могло, т. к., судя по самому автору, грабёж и накопление

были главным бытовым интересом опричника. Штаден мало говорит о казнях, о законном разбое — на каждом шагу. Читая его, можно думать, что даже поход Грозного на Новгород не имел другой цели, кроме исполинского грабежа. Стоит привести его рассказ о новгородской экспедиции. Он показывает, что творилось во время опричного режима во всех уголках страны.

"Когда великий князь со своими опричниками грабил свою собственную землю, города и деревни, душил и побивал на смерть пленных и врагов — вот как это происходило. Было приставлено множество возчиков с лошадьми и санными — свозить в один монастырь, расположенный за городом, все добро, все сундуки и лари из Великого Новгорода. Здесь все сваливалось в кучу и охранялось, чтобы никто не мог унести. Все это должно было быть разделено по справедливости, но этого не было. И, когда я это увидел, я решил больше с великим князем не ездить...

Тут начал я брать к себе всякого рода слуг, особенно же тех, которые были наги и босы; одел их. Им это пришлось по вкусу. А дальше я начал свои собственные походы и повел своих людей назад, внутрь страны, по другой дороге. За это мои люди остались верны мне. Всякий раз, когда они забирали кого-нибудь в плен, то расспрашивали чество, где — по монастырям, церквям или подворьям — можно было бы забрать денег и добра, а особенно добрых коней. Если же взятый в плен не хотел добром отвечать, то они пытали его, пока он не признавался. Так добывали они мне деньги и добро.

Как-то однажды мы подошли в одном месте к церкви. Люди мои устремились во внутрь и начали грабить, забирая иконы и тому подобные глупости. А было это неподалеку от двора одного из земских князей ("князь" у Штадена нередко вместо дворянина. Г. Ф.), и земских собралось там около 300 человек вооруженных. Эти триста человек гнались за шестью всадниками — те шестеро были опричниками, которых гнали земские. Они просили меня о помощи, и я пустился на земских.

Когда те увидели, что из церкви двинулось так много народа, они повернули обратно ко двору. Одного из них я тотчас уложил одним выстрелом наповал; потом прорвался через их толпу и проскочил в ворота. Из окон женской половины на нас посыпались камни. Кликнув с собой моего слугу Тешату, я быстро взбежал вверх по лестнице с топором в руке.

Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бро-

силась назад в палаты, я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей...

Затем мы проехали всю ночь и подошли к большому, незащищенному городу. Здесь я не обижал никого. Я отдыхал...

Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь, вернулся же я с 49-ю, из них 28 были запряжены в сани, полные всякого добра".

Рассказ опричника о новгородском походе, кончается царским смотром в Старице, во время которого Генриху Штадену было пожаловано право называться "Андреем Володимировичем". "Частица "вич" означает благородный титул. С этих пор я был уравнен с князьями и боярами. Иначе говоря, этими словами великий князь дал мне понять, что это — рыцарство. В этой стране всякий иноземец занимает лучшее место, если он в течение известного времени умеет держать себя согласно с местными обычаями". Немец Штаден, несомненно, проявил это умение в полной мере.

Многие из опричных подвигов следует отнести на счет своеволия нового "рыцарства". Сам Штаден свидетельствует, что грабеж земщины происходил "без согласия" царя. Многие переодевались опричниками для покрытия разбоя. Разнуздав свою армию гражданской войны, царь Иван естественно не мог поддержать в ней дисциплину. К тому же, навстречу алчности и жестокости сверху шла классовая злоба и алчность с низов. Еще раз обратимся к перу опричника: "Из-за денег земских оговаривали все: и их слуги, работники и служанки, и простолюдины из опричнины — посадский или крестьянин. Я умалчиваю о том, что позволяли себе слуги и служанки опричных князей и дворян. В с и л у к а з а в с е с ч и т а л о с ь п р а в и л ь н ы м".

Последние слова показывают, что все эксцессы низового террора и простой разбой были санкционированы волей царя — всем духом созданной им системы. Рассказывают же Таубе и Крузе, что простое снисхождение, проявленное опричником к земскому в его личном деле, рассматривалось, как измена, и могло стоить ему головы.

В этой гражданской войне царя с земщиной наше внимание останавливается на церкви. Монастыри и храмы, по видимому, особенно привлекали алчность опричнины — и самого царя. Секуляризации церковных имуществ, — в которой правительство могло испытывать потребность во время разорительных войн, — Грозный предпочитал прямой грабеж и разгром храмов. Вот некоторые примеры, замешанные из того же Штадена: "Великий князь пришел в Тверь и приказал грабить все — и церкви и монастыри. —

То же было и в Торжке; здесь не было пощады ни одному монастырю, ни одной церкви".

Особенно ярко эта алчность к церковному имуществу, в соединении со злобой царя к духовенству, сказались во время погрома Великого Новгорода (1571), описанного в местной летописи. Еще до прихода царя опричники из "передового полка" делают все нужные приготовления: "А иные бояре и дети боярские повелением государя разъехавшася по монастырям иже около Великого Новгорода, запечаташа монастырския церковные казны, а игуменов и черных попов и дьяков и соборных старцев из всех новгородских монастырей взяша с собою в Великий Новгород числом до пятисот человек старцев и болши, и всех поставиша на правеж до государева приезда". То же было сделано и с белым городским духовенством. "Повелеша их бити на правежи от утра до вечера, а правити на них числом по 20 рублей новгородских". Аресты были произведены и среди новгородского боярства и купечества, но этих на правеж не ставили. На другой день по приезде своем в Новгород, 7 января, государь повелел всех поставленных на правеж монахов "избивать палицами на смерть, и бив их повел когождо во свой монастырь розвозити и погребати". Общий грабеж и казни в Новгороде начались лишь на следующий день. Среди монахов царь ищет свои первые жертвы.

Кн. Курбский посвящает в своей "Истории" особую главу (VIII) "страданию священномучеников". Она, как и другие его главы, не свободна от неточностей. Но многие факты подтверждаются летописями и Синодиком самого Грозного, т. е. помянником его жертв, рассылавшимся царем по разным монастырям. Таков рассказ Курбского об убиении Корнилия, игумена Псковского Печерского монастыря, вместе с его учеником Вассианом Муромцевым: "И глаголют их вкупе во един день орудием мучительским некаким раздавленных: вкупе и телеса их преподобно мученическия погребены". Курбский глухо упоминает, не называя его имени, об убиении Леонида арх. Новгородского, преемника Пимена: "повелел убити со двема... игумены великими, або архимандриты". Псковская летопись сообщает подробности неслыханной казни архиепископа: "Опалися царь Иван Васильевич на архиепископа Новгородского Леонида и взя к Москве и сан на нем оборвал и в медведко ошив, собаками затравил". Мы, как и курбский, не можем проверить известия об убийстве Иваном знаменитого просветителя лопарей Феодорита. По одним слухам, царь утопил его за то, что он ходатайствовал о прощении Курбского, бывшего некогда его духовным сыном. Синодик царя дает нам и другие имена "Иноков", "священноиереев", и даже "стариц", которые,

вероятно, никогда не будут отождествлены. Но и Синодик далек от полноты: достаточно сказать, что в нем нет имени св. Филиппа.

Казни духовенства могли вызываться алчностью царя или подозрением в соучастии представителей церкви во мнимых преступлениях земщины: в таком случае, они составляли подробность опричного режима. Но могли они явиться и мезтью тирана, раздраженного словом увещания, моральной уздой, которую он встречал со стороны хотя бы немногих пастырей. Конечно, в них нельзя видеть выражение антихристианских или антицерковных идей царя. Иван умел совмещать казни священников и даже ненависть к попам с самосознанием ревнителя православия. Он любил богословские прения, особенно с иностранцами, был начетником в св. Писании, уставщиком, ревнителем не только веры, но и благочестия. Однако, это благочестие выражалось у него в таких формах, которые были отвратительнее зверств. Иван находил, по-видимому, острую приправу к человеческой крови в литургической красоте, как находил ее иногда в сладострастии. Так как в столкновении митрополита с царем играет некоторую — может показаться, непомерно большую роль — вопрос об опричных скуфьях и одежде самого царя, то мы считаем нужным остановиться на той кощунственной пародии монашеского братства, которую царь создал в недрах опричнины.

Двор царя — он же отборный корпус палачей в Александровской слободе — состоял из 300 человек "братии", во главе которой стоял сам царь в сане игумена, кн. Вяземский — келаря, Малюта Скуратов — экклисиарха. Опричники носили поверх кафтанов черные плащи, а на головах шлыки, напоминая внешним видом монахов: своеобразная идея духовно-полицейского ордена! Церковные службы в слободе занимали не менее 9 часов. Игумен будил братию даже по ночам, заставляя простаивать в церкви от 12 до 3 час. утра. За обедом, довольно роскошным, царь сам читал жития святых. Приказы о казнях, вместе с подробностями пыток, отдаются нередко в церкви. Встав из-за стола, царь "не пропускает почти ни одного дня, чтобы не пойти в застенок". Зрелище пыток "доставляло ему, по самой природе, особую радость и утешение; никогда он не бывал так весел лицом и в речах, как будучи при пытках и казнях. Казнит он до колокола в восемь часов", который сзывает на вечернюю молитву. Эта строгая упорядоченность церковно-застеночного быта разрушает обычное понимание религиозности Грозного, как состояния резких колебаний между грехом и раскаянием. Не отрицая покаянных настроений царя, нельзя не видеть, что он умел в налаженных бытовых

формах совмещать зверство с церковной набожностью, оскверняя самую идею православного царства.

Сказанного достаточно, чтобы убедиться, насколько ошибочно видеть в опричнине целесообразный государственный институт, направленный лишь против мятежного боярства, а в борьбе св. Филиппа против него — голос той же боярской оппозиции.

Русские люди, писавшие об опричнине при Грозном и после него, единодушны в своем возмущении. Не нашлось ни одного голоса в ее защиту. Известный Иван Пересветов, в котором видели идеолога опричнины, писал задолго до нее, и трудно сказать, был ли он доволен формой воплощения своей идеи, если дожил до кровавых лет. Из многих голосов летописцев и хроникеров приведем лишь некоторые свидетельства:

"Попущением Божиим за грехи наши възъярился царь Иван Васильевич на все православие по злых людей совету... учинише опричнину, разделение земли и градов... и бысть туга и ненависть на царя в миру и кровопролитие и казни учинишася многия" ("Сокращенный Временник").

Кн. Катырев-Ростовский в Повести о смутном времени дает яркую и точную характеристику опричнины: "За умножение грехов всего православного христианства царь Иван Васильевич с о п р о т и в н и к обретесе и исполнися гнева и ярости, нача подвластных своих сущих рабов зле и немилосердно гонити и кровь их пролияти и царство свое, порученное ему от Бога, раздели на две части... и заповеда своей части оную часть насилovati и смерти предавати и дома их грабити и воевод, данных ему от Бога, без вины убивати повеле, не устращися же и святительского чина, оных убивая, оных заточению предавая и грады краснейшие Новгород и Псков разрушати, и в них православных христиан зле и немилостиве убивати, даже и до ссущих младенцев повеле".

Даже дьяк Иван Тимофеев, автор "Временника", который старается пройти молчанием "царское безобразие жителя" и лишь "в прикровении словес" решается обнажить "студ венца", выражается об опричнине резко и решительно: "Царь возненавидел грады земли своя", во гневе разделил их и "яко двоеверны сотворил". Все современники, как видим, особенно удручены "разделением" царства, — тем, что составляет самую сущность опричнины, и против чего еще накануне своего избрания возвысил голос митрополит Филипп.

3. ПОДВИГ С В. ФИЛИППА

Зимой 1567 — 8 г. царь возвратился из неудачного литовского похода. Над Москвой собиралась гроза. Поводом к казням послужили перехваченные правительством грамоты к московским боярам от короля Сигизмунда и гетмана Хоткевича. Грамоты были адресованы князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и конюшему боярину Ивану Петровичу Челяднину. Бояре приглашались оставить государя-тирана и перейти в Литву. Успеха это предложение к измене не имело. Бояре — вероятно, под диктовку царя — составили оскорбительные ответы в Литву, дошедшие до нас. Челяднин пишет королю: "Я уже человек при старости; зрадивши (изменивши) мне государя своего и душу свою зломивши, не много жити; а у тебя будучи, в войсках твоих ходити уже не могу... и машкарством потешать тебя в старости не учен есмы". В письме к гетману он так отзывается о русском государе и своей службе: "А што писал еси, што государь мой хотел надо мною кровопролитство вчинити: ни есть того коли бывало, а ни быти может, што царскому величеству без вины кого карати. Также и того не бывало, што Литве Москва судити".

Эти письма не спасли боярина. Не знаем, почему из всех лиц, которым писал Сигизмунд, казнен был один Челяднин. То, что Бельского и других не тронули, говорит об отсутствии заговора. Челяднину царь, может быть мстил за старые грехи: за участие в мятеже против Глинских, 21 год тому назад (предположение Соловьева). Он был уже в преклонных летах и, по словам опричника Штадена, лично знакомого с ним, пользовался репутацией единственного честного судьи в Москве. Один современник-иностранец рассказывает о трагически-шутовской обстановке его убийства. Иван будто бы надел на боярина царскую одежду и венец, посадил на трон и поклонился, величая царем земли Русской. Потом ударил его ножом в сердце. Опричники дорезали старика и выволокли тело из дворца, бросив на площади. Штаден отмечает коротко: "он был убит и брошен у речки Неглинной в навозную яму".

Вместе с Челядниным погибла и жена его. Ненависть царя к Челядниным была так велика, что, по единогласным свидетельствам, он перебил их слуг и скот, выжег их усадьбы, стараясь не оставить в них ничего живого. Это было началом новой вспышки террора. Вокруг Челяднина, очевидно, было состряпано изменническое дело, к которому привлечены многие из боярских родов. Тогда погибли князья И. А. Куракин-Булгаков, Д. Ряполовский, трое князей Рос-

товских. Об одном из них, воеводствовавшем в Нижнем-Новгороде, рассказывают, что посланные от царя опричники схватили его в церкви и обезглавили по дороге в Москву. Голова его была доставлена царю. Некоторые из жертв царской опалы думали спасти жизнь, отрекаясь от мира: кн. Щенятев, кн. Турунтай-Пронский. Но монашеская ряса не спасла их. По одному известно, они были забиты батогами до смерти. Курбский пишет, что Пронского царь велел утопить, а Щенятева подвергнуть в монастыре страшным пыткам: "на железной сковороде огнем разженной жещи и за ногти иглы бити. И в сицевых муках скончался". Вместе с боярами погиб и казначей Х. Ю. Тютин, расчлененный на части, если верить немцам-опричникам, самим царским шурином Михаилом Темрюковичем, вместе с женой, двумя малолетними сыновьями и двумя дочерьми. Если не все подробности казней достоверны, то они не заключают в себе ничего невероятного. Политические казни уже превращались в резню.

Одни ли представители знатных родов трепетали в то время царского гнева? Таубе и Крузе описывают эти месяцы террора: "То было жалостное, горестное зрелище резни и убийств. Каждый день опричники, по 10, по 20 человек и более, в панцырях под плащами, с большими топорами, разъезжали по улицам и переулкам. Каждый отряд имел свои списки бояр, дьяков, князей и видных купцов; никто не знал ни о какой своей вине, ни о часе смерти, ни о том, что он осужден. Всякий шел, как ни в чем не бывало, по своим обычным делам, в суд или в приказы. Тотчас налетала на них банда убийц на улице, у ворот или на рынке, рубили и душили их без всякой вины и суда и бросали их трупы, и ни один человек не смел их хоронить". Опускаем другие кошмарные и, может быть, преувеличенные подробности этих кровавых дней. Что трупы убитых по несколько дней валялись на улицах, подтверждает и Штаден.

Этот разгул опричного террора падает на зиму и весну 1568 г. Более точная хронология событий невозможна. Тогда-то впервые раздался перед царем укоризненный голос Филиппа.

Житие его повествует, что "неции от первых вельмож и народ" пришли к своему пастырю со слезами, моля его о заступничестве: "смерть пред очима имуще и глаголати не могуще, токмо показующе ему мучение". Святитель не мог дольше молчать при виде стольких злодейств и страданий. Он воспользовался своим правом печалования, признанного самим царем. Первые его беседы с Грозным и увещания царя происходили втайне. Житие Филиппа приводит одну из его бесед с царем. Она драгоценна для нас, не как точная

запись слов святителя, но как идеальный диалог между святым кормчим церкви и нечестивым царем, закрепленный церковным сознанием московских людей XVI века.

— О державный, сказал Филипп, имея на себе сан превыше всякой чести, почти Господа, давшего тебе сие достоинство, ибо скипетр земной есть только подобие небесного, дабы научил ты человеков хранить правду. Соблюдай данный тебе от Бога закон, управляй в мире и законно. Земного обладание богатства речным водам уподобляется и малопомалу иждивается; сохраняется только одно небесное сокровище правды. Если и высок ты саном, но естеством телесным подобен всякому человеку, ибо, хотя и почтен образом Божиим, но и персти причастен. Тот поистине может называться властелином, кто обладает сам собою, не работает страстям и побеждает любовию. Слышно ли когда-либо, чтобы благочестивые цари сами возмущали свою державу? — и в инопленниках никогда подобного не бывало.

— Что тебе, чернецу, до наших царских советов? Или не знаешь, что мои же хотят меня поглотить.

— Не обманывай себя напрасным страхом. По избранию священного собора и по твоему изволению, пастырь я христовой Церкви, и мы все за одно с тобой, чтобы иметь попечение о благочестии и спасении всего православного христианства.

— Одно лишь повторяю тебе, честный отче, молчи, а нас благослови по нашему изволению.

— Наше молчание налагает грех на твою душу и всенародную наносит смерть. Если один из служителей корабля впадает в искушение, небольшую делает он беду плавающим, но если сам кормчий, то всему кораблю наносит он погибель. Если мы будем следовать воле человеческой, то каким образом скажем в день пришествия Господня: се аз и дети, яже ми дал еси? Не сам ли Господь заповедал в евангелии: больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя, и аще в любви моей пребудете, во истину ученицы мои будете; так мы мудрствуем и держим сие крепко.

— Владыко святой, восстали на меня други мои и искренние мои, как некогда скорбел св. Давид, ближние мои отдалече мене стаща и нуждахуся ищущии душу мою.

— Государь, есть люди, говорящие тебе лукавое; приемли благие советы, а не ласкательства; не разделяй свою державу, ибо ты поставлен от Бога судить в правде людей Божиих, а не образ мучителя воспрять на себя; все преходит в мире сем, и слава и честь, бессмертно только одно житие по Боге; обнаженные от всего житейского, воздаем мы слово за свою жизнь; отжени от себя, как гнилые члены, всех

клеветников и устрой воедино народ свой, ибо там лишь пребывает Бог, где единодушные и неличемерная любовь.

— Филипп, не прекословь державе нашей, да не постигнет тебя гнев мой, или остави сан сей.

— Ни моления не простирал я к тебе, ни ходатаев не посылал, ни чьей-либо руки не исполнял мздой, чтобы воспринять власть сию; зачем лишил меня пустыни и св. отцов? Если дерзаешь чрез каноны, твори, что хочешь; когда наступит время подвига, не должен я ослабевать.

Таковы были эти беседы с царем наедине.

Они не имели успеха. Можно думать, что Филипп не пользовался большим влиянием на царя, после споров об опричнине, имевших место во время его избрания. Царь явно удалялся от владыки, избегая встреч с ним. В увещаниях митрополита ему почудился все тот же ненавистный голос крамольного боярства. Митрополит постепенно увеличивал энергию и строгость своих слов. По словам Курбского, он "начал первее молити благовременно, яко апостол великий рече, и безвременно належат и; потом претити страшным судом Христовым, заклинаяще по данной ему от Бога епископской власти".

Только убедившись в бесплодности тайных увещаний, св. Филипп выносит свой великий спор с царем на всенародный суд. Его первое столкновение с Иваном в Успенском соборе произвело такое впечатление на современников, что далекий новгородский летописец отметил в своих скудных записях: "Марта 22 дня, на самое середокрестное недели, учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати о опричнине". Об этом знаменитом диалоге святителя с царем в храме мы имеем несколько свидетельств: жития Филипповы и рассказ немцев-опричников, писавших четыре года спустя после событий. Замечательно, что эти источники, столь далекие и независимые друг от друга, столь отличные по стилю и характеру, одинаково передают смысл речей Филиппа: доказательство глубокого впечатления этих речей на моковское общество, хранившее их целые десятилетия в устном предании. Карамзин без труда мог слить в своем изложении славянские фразы житий с переводно-немецкими — Таубе-Крузе, и в своей искусной амальгаме создал классическую страницу нашей национальной истории. Все мы помним ее с детства наизусть. К сожалению, слишком многое в этих памятных словах принадлежит красноречивому перу историка. Мы поступим осторожнее, если передадим отдельно оба варианта.

По рассказу жития, царь пришел в воскресенье в собор, "в черны ризы оболчен", вместе со своей опричной святой; на головах они носили высокие шлыки, "яко же халдеи".

Святой Филипп обрадовался царскому приходу, "исполнися Божественного света". Три раза подходил царь к митрополичьему месту, но святитель не говорил ни слова. Бояре сказали: "Владыко святой! Царь Иван Васильевич требует от тебя благословения". Блаженный же, взглянув на царя, сказал: "Благочестивый, кому поревновал ты, изменив так красоту своего лица? Отколь солнце начало сиять на небесах, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали свою державу. Убойся Божия суда и постыдись своей багряницы. Полагая законы другим, для чего сам делаешь достойное осуждения? Истину сказал богодухновенный летописец: отвращайся лъстивых словес, ибо хищные вранов нравы ласкателей; враны исторгают только телесные очи, они же ослепляют душевные мысли, похваляя достойное хулы и осуждая достойное похвалы. Престань от такого начинания: благочестивой твоей державе не свойственны такие дела. Сколько страждут православные христиане! Мы, о государь, приносим здесь Господу жертву чистую, бескровную о спасении людей, а за алтарем проливается кровь христианская, и напрасно умирают люди. Или забыл, что и сам ты причастен персти земной и прощения грехов требуешь? Прощай, да и тебе прощено будет, ибо только чрез прощение клеветов наших избегнем мы владычного гнева. Глубоко изучил ты божественное писание; отчего же не поревновать ему? Всякий, не творяй правды и не любяй брата своего нет от Бога".

Царь вскипел гневом:

— Филипп, наше ли благодушие хочешь ты испытывать? Лучше бы тебе быть единомышленным с нами.

— Тогда, о государь, тщетна будет для нас вера наша, тщетно и проповедание апостольское, и все божественное предание святых отец и все благие дела христианского учения и самое вочеловечение Господа ради нашего спасения, если мы сами ныне рассыплем то, что даровал Господь для того, чтобы мы непорочно сие соблюли: да не будет! — Все сие взыщет Господь от руки твоей, ибо все произошло от разделения царства. Не о тех скорблю, которые неповинно проливают кровь свою и кончаются мученически, ибо нынешние временные страдания, по слову апостольскому, ничто в сравнении с тою славою, которая имеет открыться в нас, но я имею попечение о твоём спасении.

Иван ударил жезлом о помост храма и произнес с угрозой:

— Нашей ли державе являешься супротивником? Увидим крепость твою.

— Не могу, государь, повиноваться повелению твоему паче, нежели Божьему. Господня земля и исполнение ее. Я

только пришелец на ней и пресельник, как и отцы мои. Подвизаюсь за истину благочестия, хотя бы и лишился сана и лютейшее пострадал.

Немецкие авторы передают речь митрополита следующим образом: "Всемилоостивейший царь и великий князь, доколе ты хочешь лить неповинную кровь твоих верных людей и христиан? Доколе неправда будет царить в русском царстве? Татары и язычники, весь свет говорит, что у всех народов есть закон и правда, а на Руси их нет; во всем свете преступники, которые ищут милосердия у властей, находят его, а на Руси нет милосердия и для невинных и праведных. Подумай о том, что, хотя Бог возвысил тебя в мире, ты все же смертный человек, и Бог взыщет с рук твоих невинную кровь. Камни под ногами твоими, если не живые души, возопиют и будут обвинять тебя и судить; я должен сказать это тебе, по повелению Божию, хотя бы меня за это постигла смерть".

Эти слова, продолжают те же авторы, привели царя в страшный гнев. Он ударил об пол своим жезлом и отвечал: "Доселе я был кроток с тобой, митрополит, с твоими приверженцами и с моим царством. Теперь вы узнаете меня!". И с этой угрозой вышел из церкви.

На следующий день возобновились казни. На этот раз гнев царя упал на бояр и служилых людей митрополичьего двора. Многих из них схватили и подвергли страшным пыткам — вероятно, ища улики против владыки. Клевета, подстрекаемая страхом, уже пыталась жалить святителя. Но об этом позже.

Лето 1568 года Москва жила в страхе. Все современники рассказывают о дикой карательной экспедиции царя по подмосковным селам. Таубе и Крузе указывают день отъезда (9 или 19 июня) и продолжительность (шесть недель) этого похода. Были ли жертвой его поместья одного Челядина или и других бояр, но опричная рать жгла все постройки, истребляя людей и скот, подвергая женщин неслыханным надругательствам. Если верить немецким авторам, царь захватил в этот поход женщин из домов московских бояр, дьяков и купцов. Надругавшись над ними вместе со своим войском, он велел развозить их по домам к их мужьям. Многие из них лишали себя жизни. Одна подробность этого рассказа, повторяясь в скупых словах Штадена, сообщает и остальному характеру вероятности. Все авторы говорят о женщинах и девушках, которых раздевали до нага, заставляя ловить кур на потеху царя и опричников.

Князь Курбский с этим летним походом связывает гибель одного из Кольчевых, Ивана Борисовича, племянника митрополита. Рассказ этот способен вызвать недоверие, —

сам Курбский говорит о "чуде", но прибавляет, что слышал о нем "от самовидца, притом зрящаго". Когда царь палил деревни Ивана Петровича (Челяднина), он велел привязать молодого Колычова "в самых верхних каморах" одного дома. Весь дом, как и другие по соседству, были набиты людьми; под них подкатали несколько бочек пороху и взорвали. Ивана Колычева нашли далеко в поле, с рукой, привязанной к бревну, но живого. Один из опричников отрубил ему голову саблей. Царь приказал зашить ее в кожаный мех и послал к дяде — митрополиту, "заточенному в темнице", со словами: "Се сроднаго твоего глава. Не помогли ему твои чары". Упоминание о темнице здесь явный анахронизм, Филипп был еще на свободе; в начале своей открытой распри с царем он переехал из митрополичьего дома (в Кремле) в монастырь "Николы Старого". Если не разумеешь под темницей этого монастыря, то знаменитую сцену с пересылкой головы Колычова придется отнести, согласно с житием, на несколько месяцев позже, к дням, следующим за отрешением митрополита (8 ноября). Но, может быть, казни Колычовых начались, действительно, уже с лета. Курбский говорит, что их было около десяти — конечно, взрослых и служилых: "и погублены суть всеродне". В Синодике Грозного упоминается четверо Колычовых. Что не все они погибли при опале митрополита, видно из боярского списка, где под 7079 (1571) годом записано: "Выбыл окольничий Михайло Иванович Колычов".

На время летних неистовств царя падает второе публичное столкновение его с митрополитом, отмеченное в житии. Это было 28 июля, в день апостолов Прохора и Никанора. В тот день Филипп служил в Новодевичьем. Пришел царь со своими боярами. Совершая крестный ход по стенам монастыря, митрополит дошел до Святых врат, где должен был читать евангелие. Оглянувшись назад, он увидел одного из приближенных царя, стоявшего в "тафье". Как и в Успенском соборе, эта деталь опричного костюма дает повод к обличению. "Державный царь", сказал Филипп: "так ли подобает благочестивому агарянский закон держать?" т. е. стоять на молитве в шапках, как мусульмане. Царь сказал: "Как так?" Митрополит отвечал: "Вот он, один из ополчения твоего, с тобою пришедший, словно от лика сатанинского". Царь оглянулся, но виновный уже снял шапку. Несмотря на вопросы царя, никто не выдал опричника. Иван пришел в гнев, поносил святителя, ругал его лжецом, мятежником, злодеем.

Эти столкновения были не единственными. По словам жития, ни одна встреча царя с митрополитом не обходилась без пререканий: "где убо ни сошедшимися, слова мир-

на не глаголющим". Тогда-то Грозный решил избавиться от непокорного митрополита. Он не смел расправиться с ним так, как расправлялся с боярами. Ему еще не случалось до сих пор убивать епископов. Он искал легального оправдания задуманного насилия. При отце его и при нем самом неудобные царю иерархии сами слагали с себя власть и сан, удаляясь в монастырь. Мужественный Филипп не считал возможным бросить свою паству и возложенное на него служение. Не обязался ли он даже перед царем земным (в 1566 г.) "митропольи не отставливати"? Да, может быть, и раздражение царя теперь было настолько велико, что не могло удовлетвориться добровольным уходом святителя. Царь задумал созвать собор для суда над митрополитом, т. е. облечь насилие в канонические формы. Ему без труда удалось найти среди высшей иерархии людей, которые пошли ему навстречу. Деморализующее действие террора сказалось в этой готовности иерархов покрыть именем церкви готовящееся беззаконие. Настроение церковных оппортунистов, с самого начала недовольных смелыми обличениями Филиппа, ярко характеризует его житие, влагая в уста "угодников" царевых такие речи: "Добро было во всем царя слушати и всяко дело благословляти без рас с у ж д е н и я, и волю его творити и не гневати, где было гнев царев утоляти и пременяти на милосердие". Из жития св. Филиппа мы узнаем, что среди духовенства была целая партия, враждебная ему "Злобы пособницы Пимен Новгородский, Пафнутий Суздальский, Филофей Рязанский, сиггел Благовещенский Евстафий". О последнем нам сообщают и причины его вражды к святому. Он подвергся от него запрещению "в духовных винах, духовник бе царев". Можно догадываться, что вина Благовещенского протопopa состояла в преступной снисходительности к грехам его духовного сына. Он и сделался главным подстрекателем и напештывателем против Филиппа перед царем: "испрестанно яве и тайно нося речи неподобныя царю на св. Филиппа". О причинах вражды епископов к Филиппу мы ничего не знаем. Только об одном Пимене житие говорит, что честолюбивый архиепископ, первый по митрополите иерарх русской церкви, мечтал "восхитить его престол". О большинстве, запуганном и раболепном, можно сказать словами жития "Прочии же ни по Филиппе побораящи, ни по царю, но яко царь восхощет, тако и они".

Какие обвинения были выдвинуты против святого? Таубе и Крузе, хорошо осведомленные о деле Филиппа, говорят, что царь "вызвал ложных свидетелей против папы" (так они называют митрополита), "что он будто бы ведет неподобающую, порочную жизнь". С этим намеком согласуется

сцена в Успенском Соборе, описываемая житием непосредственно в связи с первой обличительной речью Филиппа. Царь и епископы еще были в церкви, когда "анагност" (чтец) соборной церкви, наученный врагами его, начал "износить на блаженнаго скверная словеса". Епископы же, царю угождающие, Пимен Новгородский и прочие, говорили: "Как ты царя наставляешь, а сам неистовая творишь?" Святой же сказал Пимену: "Хотя ты и творишь человекоугодие и тщишься престол чужой восхитить, но вскоре и со своего низвержень будешь". Чтецу же сказал: "Буди тебе милостив Христос, о любезне".

В поисках лжесвидетелей обратились и в Соловецкий монастырь. На остров была послана следственная комиссия из трех лиц: Суздальского епископа Пафнутия, архимандрита Андрониковского Феодосия и князя Василия Темкина. Комиссия действовала застрашиванием и соблазнами. Мы можем поверить житию, которое, защищая доброе имя монастыря, свидетельствует, что большинство не давало себя ни соблазнить, ни запугать. Но нашлась группа предателей, во главе с самим игуменом Паисием, который недавно еще посылал в Москву митрополиту подарки. Говорят, что Паисию обещали епископский сан. О чем могли показывать соловецкие "свидетели", мы не знаем, но на соборе они сыграли главную роль.

По некоторым намекам Курбского, по словам, которые он влагает в уста Ивану, можно думать, что и здесь не обошлось без обвинений в чародействе, обычных в политических процессах того времени. Что касается чисто политических обвинений, соучастия в боярских заговорах, напр., то о них мы ничего не слышим: вероятно, ограничились винами церковного характера.

Собор собрался для комедии суда в Москве в начале ноября. По словам Курбского, он происходил в "великой церкви", т. е. в Успенском соборе. Праведного святителя Казанского уже не было в живых. Вместе с Германом, ушел из жизни и Елевферий Суздальский, не подписавший когда-то записи Филиппа об опричнине. Ни с чьей стороны нельзя было ждать слова правды. Святому исповеднику выпало испытать всю чашу горечи: быть осужденным не произволом тирана, а собором русской церкви и оклеветанным своими духовными детьми. Паисий с соловчанами представили "свитки" своих показаний, которые были прочтены перед собором. Св. Филипп кротко сказал клеветнику: "Благодать Божия да будет на устах твоих, чадо, ибо лъстивыя уста против меня отверзлись. Не слышал ли Божие слово: аще кто речет брату своему "юрודה", повинен есть геенне огненной? Вспомни и другое изречение святого писания: что се-

ет человек, то пожнет; это слово не мое, а Господне". Последние слова его царю были: "Престань, о государь, от столь нечестивых деяний; вспомни прежде бывших царей: как творившие добро ублажаемы по смерти, а зло содержавшие царство свое, ныне не с благоговением поминаются. Потщися и ты подражать благим нравам, ибо светлостию сана не умоляется смерть, во все вонзающая несокрушимые свои зубы. Итак, прежде ея немилостиваго пришествия, принеси плоды добродетели и собери себе сокровища на небесах, ибо все собранное в мире сем остается на земле, и каждый воздаст слово о житии своем". Так передает его речь житие.

По словам Таубе и Крузе, закончив свое слово, Филипп хотел сложить с себя одежды святительские и удалиться. Но царь заставил его снова надеть их и не слагать сана до приговора суда. Завтра, в Михайлов день, он должен, как законный еще митрополит, служить литургию в соборе. Филипп подчинился. По-видимому, приговор против митрополита был вынесен заочно. Те же авторы пишут, что царь настаивал на смертной казни (сожжении) митрополита, но что духовенство вымолило его жизнь. Казнь чрез сожжение опять указывает на обвинение в чародействе. Святитель был осужден на низвержение из сана и заточение в монастыре. Ни приговор собора, ни мотивы его не сохранились. Царь — может быть, против воли уступившей жизнь Филиппу — сумел создать для исполнения приговора жестокую и драматическую обстановку.

8 ноября, в праздник Архистратига, св. Филипп стоял перед алтарем, готовясь совершить свою последнюю литургию. В это время в храм вошел Алексей Басманов с толпой опричников. В руках у него был свиток. Он громко прочел соборное определение, лишшающее Филиппа епископского сана. Опричники бросились на святителя и принялись срывать с него ризы. Житие приводит его прощальные пророческие слова потрясенному народу: "О чада, скорбно сие разлучение, но я радуюсь, что сие приобрел ради церкви; настало время ее вдовства, ибо пастыри, как наемники, презираемы будут. Не удержат они здесь своей кафедры и не будут погребены в своей соборной церкви Матери Божией. Между тем опричники одели святителя в грубое монашеское платье, "многочвенное и раздранное", и, посадив на дровни, повезли из Кремля с бесчестьем, ругаясь и ударяя метлами. Народ в слезах провожал своего пастыря. Святой благословлял на обе стороны. Его привезли в Богоявленский монастырь, "за ветошным торгом", предназначенный быть его первой темницей. Утешая верную паству, он преподал ей последнее назидание: "Все сие восприял я ради ва-

шего блага, чтобы умиротворилось смятение ваше. Если бы не любовь к вам, ни одного бы дня не хотел я здесь оставаться, но удержало меня слово Божие: пастырь добрый полагает душу свою за овцы своя. Не смущайтесь: вся сия смута от лукавого, но Господь, сие попустивший, нам помощник. Христос с нами, кого убоимся? — Готов я пострадать за вас, и любовь ваша соплетет мне венец в будущем веке; с болезнями сопряжена победа, но молю вас, не теряйте упования: с любовию наказует нас Господь для нашего искупления. Не от чужих раны, но от своих; с радостию переносите от них скорби, ибо Господь велел добро творити ненавидящим нас и за них молиться. Бог же мира да устроит все на пользу по своей благодати".

Из Богоявленского монастыря святителя вызывали еще раз на собор для торжественного объявления приговора. Через два дня после низвержения Филиппа, 11 ноября, на митрополичий престол был возведен архимандрит Троице-Сергиева монастыря Кирилл. Честолюбивые надежды Пимена, если он, действительно, питал их, были обмануты. Спустя еще несколько дней, св. Филиппа перевели в Никольский монастырь, где он сидел, как узник, в оковах. Кн. Курбский, рисуя мрачную обстановку его заточения, рассказывает о попытках Грозного погубить святого в первые же дни после суда: "Повелевает его по рукам и ногам и по чреслам тягчашими веригами сковати и воврещи в узкую и мрачную темницу, и оную твердыми заклепы и замки заключить, и к темнице сторожей приставил. Потом аки день или два спустя, советников своих посылает в темницу видети, аще уже умер, и глаголают нецыи, аки бы обрели митрополита от тех тяжких оков избавлена, на пасалмопениях воздевшие руки стояща, а оковы все кроме (возле него) лежаща. Посланные же плачуще и припадающе к коленам его.. и кровоядцу оному (царю) поведаша. Он же рече: "чары, чары сотворил мой изменник".. и медведя лютого, заморивши голодом, повелел к митрополиту в темницу пустити и затворити (сие воистину слышах от самовидца) и наутрие сам прииде и повелел отомкнути темницу — и обретоша его цела, на молитве стояща: зверя же, в кротость овчу преложившись, во едином угле лежаща". Житие Филиппа ничего не сообщает об этих покушениях и чудесах. Таубе-Крузе пишут, что царь велел давать на содержание узника по 4 алтына в день.

В противоречие с Курбским, житие приурочивает к этим дням московского заточения трагический эпизод с присылкой святому отрубленной головы одного из Колычевых. Царь велел сказать страдальцу: "Се твой любимый сродник, не помогли ему твои чары". Филипп взял голову, поклонил-

ся ей до земли и, поцеловав, сказал: "Блажени яже избрал и приял еси Господи, память их в род и род". Житие ошибается только, называя ее головой брата Филиппова, Михаила Ивановича. Окольничий М. И. Кольчов был казнен только в 1571 г.

Гонимый царем, преданный пастырями, святой страдалец мог находить утешение в любви народной. От ворот Никольского монастыря, места его заточения, не отходила толпа: старались взглянуть на келью узника, передавали друг другу его последние слова. Царь решил убрать своего все еще опасного врага подальше от Москвы. Местом ссылки был избран Отрочь монастырь в Твери. Переезд в Тверь постарались сделать для старца как можно более тягостным. По словам жития, "святой на пути многу пакость и унижение прият, на мсках (мулах) везения и нужного лишения". Много пришлось потерпеть страдальцу и от приставленного стеречь его "пристава неблагодарна", имя которого история сохранила нам: его звали Степан Кобылин.

Здесь в Твери для святого потянулись дни тесного келейного заключения, согреваемые молитвой. Монах, настоятель обители пастырь и печальник всей русской земли — во всяком сани и поприще он явил себя верным рабом Христовым, и скоро должен был раздаться призывающий голос: "Вниди в радость Господа твоего". Еще год безмолвия был дарован ему для последнего очищения. Все земное и страстное сгорало в непрестанной молитве. Тайну его молитвенного предстояния Богу пытается осветить его житие словами св. Писания: "Кто ны разлучит от любве Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или мечь? Яко тебе ради умерщвляеми есмы весь день, вменихомся яко же овцы заколения. Буди имя Господне благословенно от ныне и до века".

Между тем над Русью продолжала бушевать гроза. Освобожденный от всякой моральной сдержки со стороны церкви, Иван решился на преступление, политически, может быть, давно для него соблазнительное: убийство двоюродного брата князя Владимира Андреевича Старицкого, с родом которого не раз в XVI столетии сплеталась судьба Кольчовых. Князь погиб (был отравлен) с женой и со всем семейством, всего через два месяца после низложения Филиппа (6 января 1569). Новый митрополит безмолвствовал. В довершение бедствий опричнины и войны снова усилилась моровая язва. Народ разбежался из насиженных мест, разоренных опричниной. Села и города пустели. В это время гражданская война царя с народом приняла новые формы. Разгрому и резне предавались целые города. Мы

слышим это о Торжке и Коломне. В декабре 1569 г. погрому подверглись все города между Москвой и Новгородом. Это было настоящее военное завоевание в жестокой военной обстановке XVI века, завоевание собственной земли, не помышлявшей ни о восстании ни о сопротивлении. Повод был дан доносом на новгородских властей, которые будто бы собирались передаться польскому королю. Но чем провинились Клин, Тверь, Вышний Волочек и другие города на пути царской рати? Выше мы дали описание некоторых сцен этого похода, с точки зрения участвовавшего в нем опричника. Грабительские цели выступают здесь на первый план. Для царя, быть может, дороже была месть неведомым врагам.

Убийства начались уже в Клину. Таубе и Крузе пишут, что в этом городе Иван встретил большую партию — 470 семейств — псковичей, которых гнали, по его приказанию в Москву для заселения опустошенных мором местностей. Все они были перебиты заодно с клинчанами. Громящая орда приблизилась к Твери. Иван не вошел в город, а остановился в одном из ближайших монастырей. Войско грабило город, по приказу царя, начав с духовенства. Жгли то, чего не могли взять, мучили и убивали людей. Иностранцы особенно отмечают трагическую судьбу литовских пленников, которые были заперты в башнях крепости. Все они были перебиты или утоплены в проруби. В этом кровавом чаду царь вспомнил о тверском узнике и послал к нему в келью Малюту Скуратова: опричник должен был просить у святого благословения на новгородский поход! Естественно предположить, что Малюта имел другой тайный приказ или хорошо угадал царскую мысль. Иначе он, вероятно, не осмелился бы совершить того, что совершил, или не мог остаться безнаказанным.

Рассказывают, что мученик уже три дня предчувствовал свою кончину и предсказал о ней окружающим: "Приблизилось время моего подвига". В самый день смерти он причастился св. Таин.

23 декабря в его келью вошел царский посланец. Никто не был свидетелем того, что произошло между ними. Житие святого так описывает его кончину. Малюта обратился к нему со словами: "Владыко святой, подай благословение царю итти в великий Новгород". Филипп, прозревая его тайную мысль, ответил: "Делай, как хочешь, друг, за чем пришел" и простер руки к Богу со словами последней молитвы: "Владыко Господи, Вседержитель, прими с миром дух мой и пошли ангела мирна, от пресвятой славы Твоей, наставляющего меня к Богу, да не будет мне возбранен восход от начальника тьмы; не посрами меня перед ангелами

Твоими и сопричти к лику избранных Твоих, яко благосла-вен еси во веки". Тут бросился к нему "каменносердный" мучитель и задушил подушкой ("подглавием"). Выйдя из кельи, он сказал настоятелю и приставникам, что их небре-жением умер митрополит — от чрезвычайного угара в келье. На глазах Малюты вырыли могилу за алтарем церк-ви, где и похоронили мученика.

Житие св. Филиппа заканчивается Божиим отмщением его гонителям. Ранее других кара постигла архиепископа Пимена. О повгородской резне и погроме мы уже имели случай говорить. Пимену царь пощадил жизнь. Надругав-шись над ним в его палатах, он сослал его в Веневский мо-настырь. Эта ссылка, всего лишь несколькими днями отде-ленная от мученической смерти святого, не стояла в види-мой связи с нею. Но житие свидетельствует о позднем рас-каянии царя. Иван убедился, "яко лукавством належаша на святого", и подверг клеветников опале. Соловецкий игумен Паисий был заточен на Валаамский остров, десять других соловецких монахов разосланы в разные монастыри, епи-скоп Рязанский Филофей — извержен из сана. Жестокий пристав Филиппов Степан Кобылин пострижен в монахи и сослан в Спасо-Каменный монастырь. (на Кубенском озере).

Из опричников старик Басманов, совлекший ризы с Фи-липпа в Успенском Соборе, погиб еще раньше митрополи-та. Обвиненный в заговоре в пользу князя Владимира Анд-реевича, он, если верить Курбскому, был, по приказу царя, убит собственным сыном (1569 г). Другие видные опричники сложили свои головы на плахе в 70-е годы, ког-да, после татарского сожжения Москвы, произошел пере-лом во внутренней политике Грозного (с 1572 года). Не-посредственному убийце святого суждено было спастись от плахи. Он погиб в Ливонии при осаде одной из крепостей в 1572 г.

Быть может, самая жестокая кара выпала на долю царя. Он видел крушение всех великих дел столь славно начавше-гося царствования. Разбитый Стефаном Баторием, он дол-жен был отказаться от Ливонии — самой дорогой своей по-литической мечты. Россия, разоренная и измученная оп-ричниной, была бессильна продолжать войну. Внутри стра-ны Грозный видел всеобщее обезлюдение и оскудение. На-конец, убийством кн. Владимира Андреевича и старшего сына Ивана он сам подготовил гибель династии. Терзае-мый то бесплодным раскаянием, то припадками звериной жестокости и сладострастия, преждевременно одряхлев-ший, казалось, он вкусил ад при жизни.

Но был еще один виновный, и наказание его было тяж-

ко. Весь русский народ был не только жертвой царя Ивана, но и соучастником его преступлений. Один из древних историков смуты видел общую народную вину в "безумном молчании" перед царем. Но молчанием не ограничивалось потворство злу. Всеобщая деморализация была последствием опричного режима. На ложных доносах люди строили свое благополучие, обогащаясь имуществом казенных и опальных. Выгоды опричной службы были соблазнительны не только для проходимцев, но и для представителей старого дворянства, даже княжат (Вяземский). И монастыри старались приписываться к опричнине, ради материальных благ. Мы видели интриганов-епископов и монахов в деле св. Филиппа. То были преступления отдельных лиц. Но уже вся русская церковь и вся русская земля несла ответственность за собор епископов, осудивший святителя. Вся земля и понесла кару — в годину смуты.

В исторических событиях чрезвычайно редко причинная связь получает нравственное значение. Было бы близоуко смотреть на историю, как на судебный и при том непогрешимый процесс. Но иногда моральная оценка событий совпадает — или приближается — к прагматической. Тогда погружение в историю дает нравственное очищение, подобное действию трагедии.

Связь между опричниной и смутой несомненна. Смута была народной революцией, ответившей на революцию Грозного. И хозяйственная и моральная расшатанность народа при смерти Грозного были таковы, что проникательные иностранцы (Флетчер) прямо предсказывали грядущие потрясения. Такова внешняя прагматика событий.

Для религиозного сознания ясно было и другое. В теократической монархии, какой была, или стремилась быть древняя Русь, грех царя падал на весь народ и требовал всенародного искупления.

Но теократический характер московского царства ставит перед нами один важный вопрос. Православный царь, убивающий святителя, стоит ли с ним на одной общей почве? Другими словами: было ли убийство митрополита личным грехом Грозного или вытекало из его идеи власти, несовместимой с идеей Филиппа? Мы должны выяснить, какой принципиальный, религиозно-общественный конфликт стоял за столкновением исторических лиц. Если бы св. Филипп пал жертвою безумца, ослепленного страстью, подвиг мученика, конечно, не утратил бы своего высокого нравственного значения. Но он становится вдвойне драгоценным для нас, если в нем мы расслышим предостерегающий голос Церкви, направленный против извращения теократической идеи православного царства.

4. ПРАВОСЛАВНОЕ ЦАРСТВО

Конфликт между церковью и государством в лице царя и митрополита, мы видели, назревал в Москве задолго до Грозного. Вместе с ростом самодержавия великих князей умалаялась святительская власть митрополитов всея Руси. Царь Иван Васильевич сумел лишь сообщить трагическую остроту не им впервые созданному противоречию. Царь пролил кровь святителя и этим поколебал самые основы теократического царства.

Царь Иван был не только "мужем кровей", но и ученым книжником, блестящим писателем, умевшим постоять за себя и пером. Потребность в самооправдании была в нем, может быть, сильнее и порывов к раскаянию. Рано, с детских лет, он начал задумываться над божественным характером своей власти. Первый из князей московских, еще в отроческие годы, возложил он на себя царский венец, и принял сознательно наследство порфирородных. Когда впоследствии письмо Курбского уязвило его, он взялся за перо и в страстной полемической отповеди дал целую теорию своей богоустановленной власти. Конечно, Грозный не первый в Москве рассуждал о природе самодержавия. Но никто в такой полноте и в такой заостренности не выразил его идеи. Политическая философия Грозного не свободна от противоречий. Голос страсти слишком часто заглушает голос разума. Но ударные, смелые парадоксы его драгоценны: они вскрывают тенденции целой эпохи.

Не будем останавливаться на том, что роднит Грозного со всеми людьми его времени: на идее божественного происхождения царской власти. "Народился есми Божиим изволением на царство". Это божественное происхождение совпадает с историческим преемственным правом. В разрез с историей, Грозный видит начало "самодержавства" на Руси при Владимире Святом, а отдаленные корни его не только в империи Константина, но и Августа. Свою власть Грозный отказывается отличать от власти Божией. Известный апостольский текст о подчинении властям у него получает такую интерпретацию: "противляйся власти Богу противится; и аще кто Богу противится, сии отступник именуется, еже убо горячайшее согрешение". Вот почему Курбский, изменив ему, "не на человеки възъярился, но на Бога восстал".

Власть эта, по самой природе своей, не терпит ограничений. "Како и самодержец наречется, аще не сам строит?" В иных царствах, "у безбожных человеков", иное дело: там подданные, рабы повелевают государем: "а российское са-

модержавство изначально сами владеют всеми царствами, а не бояре и вельможи". В полемике с Курбским Грозный естественно заострил анти-боярское, анти-аристократическое острие самодержавия. По его исторической теории, гибель греческого царства произошла от засилия вельмож — "епархов и синклитов". Для нас интереснее другое: самодержавная идея Грозного вторым острием направлена против священства: точнее, против вмешательства священства в дела царства. Этот своеобразный антиклерикализм царя питается горькими воспоминаниями юности. Он не может забыть, как Сильвестр с боярской радой пытался умалить его власть: "с попом положисте совет, дабы аз словом был государь, а вы бы с попом владели". Об этих временах он говорит с раздражением. Или в том "светлость благочестивая", чтобы "обладатися царству от попа невежи"? Смехотворно — "смеху быти" — "попу повиноватися". И опять у Грозного готова историческая теория: всякое царство разоряется, "еже от попов владомое". Это они, эти попы, "во грехех царствие погубили и туркам повинуются". Теперь уже гибель Византии ставится в вину не епархам, а попам, ограничивавшим власть императора. Так классическая православная теократия Востока, образец теократии русской, не находит оправдания в глазах царя. Он и в Библии, закрывая глаза на основную идею ветхозаветной теократии, ищет подтверждения своей антиклерикальной идеи. Когда Бог выводил Израиль из Египта, Он не священника поставил владеть людьми "или многих рядников", "но единого Моисея, яко царя". Священство при Моисее было представлено Аароном. Моисею было запрещено священствовать, Аарону же "творити людское строение". Когда же Аарон пытался взять в свои руки это мирское строение, "тогда и от Бога люди отведе". То же было и во дни Илия, первосвященника, который "взя на ся священство и царство". Он сам и сыновья его погибли злою смертью, и весь Израиль побежден был до дней Давида царя. "Видишь ли, яко священство... не прилично царским владети?"

Читая у Грозного о разделении священства и людского строения между Моисеем и Аароном, можно подумать, что он был сторонником дуалистического разделения властей: священству духовное, царству мирское. Тем самым подрывались бы самые основы теократии. Но эта мысль как нельзя более чужда Грозному. Он сознает себя от Бога поставленным стражем веры и благочестия. "Тщуся со усердием люди на истину и на свет наставить, да познают единого истиннаго Бога, в Троице славимаго, и от Бога даннаго им государя". Как власть царя догматизируется, поднимаясь до высоты таинственной жизни Божества, так сам царь явля-

ется здесь апостолом догматов. В этом учительном самосознании Грозный защищал православие в прениях о вере с инославными, с Поссевином и Рокитой, слал гневные послания об упадке строгой жизни в Кириллов монастырь и писал арх. Гурию Казанскому о "данной тебе от Бога и от нас пастве". Пародия монашеской жизни в опрличнине могла находиться в связи и с этим церковным сознанием царя. Он притязал на всю полноту власти в государстве и церкви, кроме чисто сакраментальной, отказывая в то же время церкви в праве участия в делах государственных. В этом первая особенность его идеи православного царства.

Отрицая за церковь власть в царстве, признает ли он за нею право морального и религиозного суда над царем? Царь, как сын церкви, должен ли слушать ее голос? Грозный молчит об этом, но все заставляет думать, что он не хотел иметь посредников между собой и Богом. "Божий суд восхищаешь, и прежь Божия суда своим злолукавым самохотным изложением... осуждаешь", пишет он Курбскому, но за ним метит и в Сильвестра: "яко же с своими начальники попом и Алексеем (Адашевым) изложили есте"... Грозный умышленно обходит вопрос об учительной власти церкви над собой, ограничиваясь гордым заявлением: "Кто убо постави судию и властителя над нами?" С этим вопросом или утверждением прекрасно согласуется его требование, обращенное св. Филиппу в Успенском Соборе: "Молчи, а нас благослови по нашему изволению"... "Доселе русские владельцы неистязуемы были ни от кого же". Единственное ограничение всевластия царя — в православии, понимаемом в узком смысле правоверия. Только отпадение царя от веры освобождает подданных от повиновения: "Вся божественная писания исповедуют, яко не повелевают чадом отцем противитися и рабом господем, к р о м е в е р ы".

Грозный не закрывает глаза на возможность падений и грехов для царя. Но они его не пугают. Он дерзновенно указывает Курбскому на примере святых: "много бо в них обрящешь падших и восстающих". Это сравнение настолько пришлось ему по вкусу, что он развивает его и в других подробностях: "И яко они тогда от бесов пострадаша, таковая и аз от вас пострадах". Словом, Грозный, равняясь со святыми в своем теократическом сознании, не признает над собой никакого суда на земле. В этом вторая личная черта его теократических воззрений.

Третья — в самом содержании, в самых приемах и задачах царского служения. Грозному не чуждо нравственное понимание своего служения: "Людей на истину наставить... от междоусобных браней и строптивного жития да престанут, которыми царство растлевается". — "Царем подобает

обозрительным (рассудительным) быти: овогда кротчайшим, овогда же ярим; ко благим убо милость и кротость, к злым же ярость и мучение". Но характерно, что слово "правда" не приходит ему на ум в определении царского служения. Он имеет в виду не столько нравственную, сколько воспитательно-полицейскую цель: покровительства добрым и обуздания злых. И отрицательная задача — воспитание страхом — всецело заслоняет положительную. Грозный — пессимист в оценке человеческой природы. Признание естественной свободы ("самовольства") человека, в чем он уличает Курбского, для него равносильно возвращению к обрезанию. Все подданные для него, без исключения, рабы. Слово "раб" не сходит у него с языка, говорит ли он о боярах, о "раде" или о попе Сильвестре. Патриархальное отношение царя к народу, как к детям, "сиротам государевым", уступает место суровому праву рабовладельца над холопами.

Грозный искусно и остроумно доказывает необходимость карающей, принудительной власти государства, ее отличие от власти духовной, необходимость для правителя считаться с суровыми требованиями жизни — с тем, что он называет: "по настоящему времени жити". Но эта практическая государственная мудрость чрезвычайно односторонняя. "Царское правление (требует) страха и запрещения, и обуздания, и конечного запрещения, по безумию злобных человек лукавых". Такие уроки он вычитывает и в св. Писании и в истории. "Апостол повелевает страхом спасати. Тако же и во благочестивых царей временах много обрящется злейшее мучение". И образцы этого "злейшего мучения" он выискивает с бесовской зоркостью в преступлениях святых государей. "Вспомни же и в царях великого Константина: како, царства ради, сына своего, рожденного от себя, убил есть? Князь Феодор Ростиславич, прародитель наш, в Смоленске на пасху колико крови проливал есть? И во святых причитаются". Даже царь Давид импонирует ему тем, что "на немощной чади силу свою и гнев показа".

До известных пределов эта грозность царской власти оправдывается, если не служением добру, то одолением зла. Но часто преступается и эта тонкая черта (как в примере Константина), и сила становится на место правды, власть приобретает самодовлеющий, языческий характер. "Добрые" превращаются в царских "доброхотов". "Доброхотных своих жалуем великим всяким жалованием, а иже обрящутся в супротивных, то по своей вине и казнь приемлют". Безнаказанно не проходит и слово "раб", Беспрестанно срывающееся с языка. Оно звучит уже не библейски-патриархально, а вотчинно-самовластно, заменяясь привычным

бытовым образом "холопа". Тут уже нравственное отношение оканчивается, уступая место жестокому юридическому факту. "А жаловати есмя своих холопов вольны, а и казнити вольны же есмь". Нельзя и спрашивать о мотивах господского каприза. Христианская теократическая идея срывается и тонет (как и государственная реформа Грозного) в мелком самодурном обиходе удельного, "опричного" двора.

И, наконец, последнее, с этим связанное: нечувствительная секуляризация в самом обосновании идеи. Идеалом власти Грозного является язычник — Август, при котором Империя еще не знала разделения. Он заслоняет в его глазах и православных византийских царей, от него, чрез легендарного Пруса, выводит он и свой род Рюриковичей. На современном ему "безбожном" Западе и магометанском Востоке Грозный ищет уроков тирании и без труда находит их в век Ренессанса и зачинающегося абсолютизма: "А в иных землях сам узришь, елико содевается злым злая: там не по здешнему!.. В иных землях изрядец (изменников) не любят: казнят их, да тем утверждаются".

Напрасно исследователь политических идей Грозного (М. А. Дьяконов) находил, что его мнения "слагались по готовым образцам, и ему не пришлось прибавить ничего нового к готовым теориям". Верно то, что эти идеи коренятся в традиционной русско-византийской православной почве. Но Грозный доводит их до абсурда, чеканя их в неправославную и нехристианскую форму. Этому извращению русской теократической идеи противостоял идеал власти св. Филиппа, который воплощал лучшие традиции русской церкви.

Мы сожалеем, что св. Филипп не оставил нам, подобно своему гонителю, начертания того идеала Христовой правды в православном государстве, которому он отдал свою жизнь. Слова жития, влагаемые в его уста несколько десятков лет после его мученической кончины не могут притязать на подлинность. Однако, они показывают, как церковный мир в следующем поколении представлял себе этот идеал царства, под непосредственным впечатлением подвига святителя.

Приведем здесь опущенное нами слово Филиппа, которое он говорит в соборе, только что получив из рук царя митрополичий посох св. Петра: "О, благочестивый царь, Богом сотворенное вместилище благой веры, поскольку большей сподобился ты благодати, поскольку и должен Ему воздать. Бог просит от нас благотворений, не одной лишь благой беседы, но и приношения благих дел. Поставленный над людьми, высоты ради земного твоего царствия, будь кроток к требующим твоей помощи, памятуя высшую

над тобой державу горней власти. Отверзай уши твои к нищете страждущей, да и сам обрящешь слух Божий к твоим прошениям, ибо каковы мы бываем к нашим клеветам, таковым обрящем к себе и своего Владыку. Как всегда бодрствует кормчий, так и царский многоочитый ум должен твердо содержать правила доброго закона, иссушая потоки беззакония, да не погрязнет в волнах неправды корабль всемирной жизни. Принимай хотящих с о в е т о в а т ь тебе благое, а не домогающихся только ласкательств, ибо одни радеют воистину о пользе, другие же заботятся только о угождении власти. Паче всякой славы царствия земного, украшает царя венец благочестия; славно показывать силу свою супостатам, покорным же человеколюбие и, побеждая врагов силой оружия, невооруженною любовью быть побежденным от своих. Не возбранять согрешающим есть только грех, ибо если кто и живет законно, но прилепляется к незаконным, тот бывает осужден от Бога, как соучастник в злых делах; почитай творящих добро и запрещай делающих зло; твердо и непоколебимо стой за православную веру, отрясая гнилыя еретическия учения, чтобы содержать то, чему научили нас апостолы, и что предали нам божественные отцы. Так подобает тебе мудрствовать и к той же истине руководить подчиненных тебе людей, не почитая ничего выше и богоугоднее сей царственной заботы".

Легко видеть, что святитель не ограничивает здесь теократической власти царя. Как и Грозный, он видит в царе вместилище веры, сосуд особой благодати, признает за ним вероучительную власть. Но по-иному ставятся здесь все ударения. Чем выше благодать, тем выше и ответственность. Царь не выше правды, но сам подчинен "правилу доброго закона" — конечно, нравственного и религиозного. Он облечен силой на врагов (Грозный любит говорить не о силе, а о "страхе" и "ярости"), но первое слово к нему о кротости и сострадании. Наставление о добрых советниках, конечно, имеет в виду частный вопрос об опричнине и разрыве с боярством, но оно связано с идеалом правды. И здесь за Филиппом, как мы увидим, стоит церковный голос прошлого.

В своих обличительных беседах с царем Филипп не раз имел случай подчеркнуть эти разделяющие их черты. "Соблюдай данный тебе от Бога закон... Ты поставлен от Бога судить в правде людей Божиих, а не образ мучителя восприять на себя... Не разделяй свою державу... и устрой воедино народ свой, ибо там лишь пребывает Бог, где единодушные и нелицемерная любовь... Прощай, да и тебе прощено будет... Всякий не творяй правды, и не любяй брата своего,

несть от Бога". Правда, о которой учит святитель, не только право и справедливость, но и любовь. Заповедь прощения, очевидно, может относиться только к виновным — по терминологии Грозного, к злым. Даже злым, вместо ярости, царь должен показать лик любви. Между царем и святителем мы видим противоречие в понимании самых задач государственной власти.

Не менее решительно отрицает святитель и мнимую неподсудность царя наказующему голосу церкви. В этом весь смысл его исповедничества. Об этом он говорит с потрясающей силой. "Наше молчание налагает грех на твою душу и всенародную наносит смерть". На требование царя быть единомышленным с ним, отказавшись от обличения, святой восклицает: "Тогда, о государь, тщетна будет для нас вера наша, — и самое вочеловечение Господа... Я имею попечение о твоём спасении... Если умолчу о истине, да не почтуса в чине епископа".

В словах св. Филиппа, переданных нам его житием, нет особого учения и праве священства на светскую власть. Но если говорить не о власти, а о влиянии, или о власти слова меча духовного, то самый подвиг Филиппа свидетельствует о нераздельности для него царства правды: в государстве, как и в церкви, осуществляется та же правда Христова, и на страже ее поставлен он, епископ, который не смеет "молчать об истине".

Так во всех трех основных пунктах оригинальные идеи Грозного осуждены св. Филиппом, как грех, как неправда, как теократическая ересь. Нам остается показать, что точка зрения Филиппа была не столь "оригинальна", как мысль царя: что она представляла добрую традицию русской церкви.

Здесь мы встречаемся со следующей трудностью. Исследователи церковно-политических идей в древней Руси различают несколько оттенков в понимании православной теократии у русских духовных писателей и святых. При желании, эти оттенки можно свести к нескольким точкам зрения: преобладания церкви, преобладания государства, гармонии властей. Особенно богата развитием политических идей эпоха Ивана III и Василия III, пора ликвидации удельного строя и укрепления самодержавия. В какой же школе, у каких авторов искать канонического ответа?

Эта трудность отчасти рассеивается, когда мы подходим к эпохе Грозного. Она создала ряд светских публицистов, далеко удаляющихся от традиции. Но не у них, не у Курбского, не у Ивана Пересветова будем мы искать голоса русской церкви. Голос этот звучит не особенно громко, но явно в устах митрополита Макария, наложившего отпе-

чаток своей личности на целую эпоху, в соборных постановлениях (в "Стоглаве"), в литургическом чине. И здесь этот голос звучит однозначно. Получается впечатление, что борьба взглядов, волновавшая предшествующее поколение, улеглась. Победа досталась Иосифу Волоцкому и его ученикам, поборникам московского самодержавия. Сам Макарий может считаться учеником Иосифа. Но острые формулировки начала века смягчились. Теперь уже можно говорить о церковном каноне, облекшемся даже в литургическую форму. Исходя из него, мы можем возвращаться и к более радикальным основоположникам доктрины: к св. Иосифу, к митрополиту Даниилу. В стороне останутся памятники одиночных воззрений: бояро-фильская "Беседа Валаамских чудотворцев" или католическое "Слово кратко", иначе именуемое "О свободе церкви".

Митрополит Макарий с большой вероятностью считается составителем чина царского венчания 1547 г. и вдохновителем Стоглавого собора. В этих памятниках, как и в посланиях самого митрополита, живет одна идея — "симфонии", т. е. согласия властей, царской и священнической, хотя она обычно усваивается во многом отличному от русских книжников Максиму Греку. Нигде ни в чем не ограничивается власть царя в делах церкви, для которой он является "опасным хранителем", "исправителем и утвердителем" веры христианской. Обратной стороны церковной власти царя является участие церкви в делах государства. Тот же Грозный, который отрицал это право церкви в письмах к Курбскому, сам предлагает на рассмотрение и утверждение собора уставные грамоты земского самоуправления... "чтобы в сякое дело и всякие обычаи строилось по Бозе в нашем царствии... И мы вашего святительскаго совета и дела требуем и советовати с вами желаем о Бозе". У русских пастырей нет вкуса к делам мирским. Они не считают участие в государственном деле своим правом, но иногда — своим долгом, как это выражено в одном политическом письме митрополита Макария в Литву. Начав с того, что "мы люди церковные, и нам до того дела нет" (т. е. до посольских дел государевых), владыка продолжает: "А мы, как пастыри христианские, боговенчанному самодержцу напоминаем, чтоб он с пограничными своими соседями имел мир и тишину".

Это участие церкви в делах мирских естественно потому, что и мир подвластен Христовой правде. В поучении царя в обряде венчания митрополит внушает ему "управити люди в правду", любить "правду и милость и суд правый, и "бояться серпа небеснаго". С этой идеей правды связана неразрывно идея милости и даже совета: "бояр же своих и вель-

мож жалуй и бреги по их отечеству, и ко всем же князьям и княжатам и детям боярским и к всему христоролюбивому воинству буди приступень и милостив и приветен по царскому своему сану и чину". В полном согласии с этим идеал царя у Максима Грека: "Царь есть образ живой и видимый Царя небеснаго, но Царь небесный весь естеством благ, весь правда, весь милость, щедр ко всем". Тому же Максиму принадлежит и удачная формула "правды и благозакония", по которым царь должен устроить свое царство. В отличие от Грозного, придавая самодержавию внутренний смысл, он готов считать "истинна и самодержца" только того царя, "который во еже правдою и благозаконием устроити житейская подручников (подданных) прилежит". Конечно, правда царева требует кар для виновных и, Стоглав упоминает о "царской грозе", но эта гроза в концепции идеального царства решительно стоит на втором плане.

Указывать царю на правый путь его служения, обличать его, как и всех мирян, долг пастырей, прежде всего епископов, которые дают обет соблюдать его, не боясь смерти. Митрополит Макарий сознавал это столь же ясно, как и св. Филипп: "Егда рукополагахся... тогда... пред всем народом кляхся судьбы и законы и оправдание наше хранить, елика наша сила, и пред цари за правду не стыдигись; аще и нужда будет мы от самого царя, или от вельмож его, что повелят ми говорити, кроме божественных правил, не послушати ми их, но аще и смертью претят, то никакож ни послушати их." Так пишет Макарий в своем ответе на предложение Грозного об ограничении церковного землевладения, выступая против казавшегося ему несправедливым царского желания. И царь в своей речи пред собором напоминает владыкам эту их архиерейскую клятву, умоляя и сам их противодействовать всякому нарушению "божественных правил": "Вы о семь не умолкнете, аще преслушник буду, воспретите ми без всякого страха, да будет жива душа моя и вси под властью нашею". Внушая царю о его долге, пастыри не только облегчали свою совесть; они рассчитывали, что слова их не окажутся тщетными. В чине венчания митрополит требует от царя, чтобы он оказывал "к нашему смирению, ко всем своим богомольцам о святом Дусе царское свое духовное повинование". Вопрос о пределах этого повинования царя не ставился, но вряд ли оно ограничивалось кругом чисто духовных дел.

Священник Сильвестр в поучении Шуйскому, говоря не столько об отношении митрополита к царю, сколько вообще священнического чина к мирскому, так излагает обязанность пастырства: "печаловати, молити и всячески увещевати земных властей о победных и повин-

ных и о обидимых, аще не послушают, ино обличити и запретити".

Принято считать св. Иосифа Волоцкого самым последовательным поборником московского самодержавия. Действительно, Иосифу принадлежит наиболее высокая концепция священной власти царя. Можно условно говорить о подчинении Церкви государству в учении Иосифа. Известно всем его определение: "Царь убо естеством подобен есть всем человекам, властью же подобен нышнему Богу". Но этой высоте соответствует и тяжесть ответственности. "Крепких же и сильных крепко истязание ждет". И церковь не может оставить царя под тяжестью грехов перед лицом Бога, "занже за царское согрешение Бог всю землю казнит". Вот почему и повиновение царям имеет границы и служение им отлично от служения Богу: "Подобает тем поклонитесь и служити телесне, а не душевне, и воздавати им царскую честь, а не божественную". Как же поступать, если в лице царя восстанет грешник и мучитель и потребует повиновения себе? Иосиф смело ставит этот вопрос в 7 слове "Просветителя" и отвечает на него: "Аще ли же есть царь, над человеки царствуя, над собою же имать царствующа скверны страсти и грехи, сребролюбие же и гнев, лукавство и неправду, гордость и ярость, злейши же всех неверие и хулу, таковой царь не Божий слуга, но диавола, и не царь, но мучитель. И ты убо такового царя, или князя да не послушаеши, на нечестие и лукавство приводяща тя, аще мучить, аще смертью претит. Сему свидетельствуют пророци и апостоли и вси мученици, иже от нечестивых царей убиени быша и повелению их не покориса". Так Иосиф, создавший учение богоподобной власти царя, создает и учение о царе-тиране и о законном тираноборстве, давая некоторый повод сопоставлять его с учением западных монархо-махов XVI века.

Замечательны указываемые св. Иосифом признаки тирана и законные поводы неповиновения. Для Грозного, мы видели, этот повод только один, выраженный им в словах: "кроме веры". Для Иосифа — весь необъятный круг нравственных преступлений: "нечестие и лукавство". Верный своему учителю, и митр. Даниил, при всем своем практическом оппортунизме, также кладет моральные границы произволу царя: "Князи и владыки над телом имут власть точию, а не над душею... Тем же аще или на убийство или не некая безместная и душевредная дела повелевают нам, не подобает повиноваться им, аще и тело до смерти мучат, Бог бо душу свободну и самовластну сотвори, о их же аще делает добро и зло".

Если так писал Даниил, то можно смело сказать, так

должны были думать все иерархи русской церкви. По человеческой слабости они редко имели мужество следовать этим опасным путем — "до смерти". Св. Филипп сделал то, чему учили св. Иосиф и Макарий. Именно он выразил в жертве своей жизни идею православной теократии. Он не был ни новатором, ниспровергающим традицию самодержавия, ни отсталым поклонником удельно-боярской старины, хотя личные нравственные связи с ней, быть может, воспитали его чуткость и независимость. Он погиб не за умирающий быт, но за живую идею — Христовой правды, которой держалось все русское теократическое царство. Оно жестоко попирало на практике эту идею, но не могло отказаться от нее, не отрекаясь от себя. Столетие, в которое жил св. Филипп, непрестанно расшатывало эту идею, все более удаляясь от идеала заданной "симфонии" мира и Церкви. Смерть мученика могла бы быть искупительной жертвой, спасающей родину, если бы родина приняла ее, участвовала в ней. Этого не случилось. И кровь св. Филиппа переполнила да краев уже полную чашу грехов русской земли. Ее падение сделалось духовно и морально неотвратимо. Каковы бы ни были социальные причины катастрофы, но не может жить общество, повседневно убивающее идею своей жизни. Православное царство без правды есть труп, от которого отлетела душа. "Где труп, там соберутся орлы".

ГЛАВА IV

ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВ. ФИЛИППА.

Если убиение митрополита Филиппа было грехом царя и всей русской земли, то прославление его должно быть связано с актом всенародного покаяния. Первыми принесли это покаяние, задолго до всероссийской смуты, монахи Соловецкого монастыря, предавшие своего отца, и сын царя, его убившего.

В 1590 г., через 21 год по кончине святого, соловецкий игумен Иаков явился к царю Федору Ивановичу с просьбой от лица всей братии: "Даруй нам, сказал он, пустынного нашего гражданина Филиппа, наветами ученика изгнанного от своего престола и в чуждом ему месте погребенного, от юности своей понес он труды вместе с отцами киновии, и ныне на нас висит клятва за то, что причинили ему ученики. Твое царское разрешение дарует нам опять благословение, которого мы лишились". Царь дал игумену грамоту к тверскому епископу Захарии. Когда раскопали могилу мученика во дворе Отроча монастыря, обрели его мощи нетленными. Тверитяне стекались поклониться угоднику, оставившему их город. Игумен Иаков с благоговением перевез, речными путями, доверенную ему святыню в северный монастырь.

Торжественно встретила братия своего великого святителя, и погребли его под папертью церкви св. Зосимы и Савватия, в месте, избранном для себя при жизни св. Филиппом. Вскоре начали совершаться исцеления и чудеса.

Первое чудо совершено было св. Филиппом над плотником Василием, "пришельцем страны восточной", приготовлявшим бревна для обновления храма. В лесу придавило его упавшим деревом, и три года лежал он калекой, прося об исцелении св. Филиппа. Однажды, в день Рождества, когда близкие ушли в церковь, оставив его одного, он увидел во сне, что стоит в церкви за всенощной и перед ним св. Филипп в епископском облачении с кадилом в руках, весь

осиянный светом. Угодник приблизился к больному и сказал: "Возстань, Василий, и, подняв его за руку, прибавил: "Будь здрав именем Господним и ходи". Проснувшись Василий увидел себя здоровым, и сам пришел в церковь благодарить святого.

Вскоре затем расслабленный инок Исаия, начальствовавший на поварне, был исцелен у гроба Филиппа. Третьим был кузнец Иван с берега, с реки Варзуги. Долго болея, он увидел однажды во сне святолепного мужа в святительской одежде, который спросил его: "Чем болеешь?" Когда больной показал на живот, явившийся перекрестил его и сказал: "Не знаешь ли меня? Я митрополит, что в Соловках". Выздоровевший кузнец пришел в Соловки и рассказал о случившемся с ним. Так распространилась слава о чудотворениях Св. Филиппа, и жители Приморья стекались на остров для поклонения ему. В эти же годы неизвестным нам иноком соловецким было составлено и житие святого. Автор не был, по-видимому, очевидцем соловецкой жизни Филиппа. О себе он говорит: "Тем же и аз от инех достоверно поведающих о нем слышах". Зато о московской деятельности митрополита он пишет: "Не от иного слышах, но сам видех". Когда-то, вероятно, уже в начале XVII в. было составлено в Соловках и другое житие св. Филиппа, более подробно изображающее хозяйственные труды Соловецкого игумена и муки его заточения со слов бывшего пристава Кобылина, позже старца Симеона, "заточену ему бывшу из Соловках".

При патриархе Иоасафе I, который сам был из пострижеников соловецких, служба св. Филиппу внесена в печатную Минею 1636 г., и день памяти его праздновался повсеместно 23 декабря. Но только 10 лет спустя были торжественно открыты и перенесены в Преображенский собор мощи святителя. Сохранилось донесение соловецкого игумена Илии патриарху Иоасафу о состоявшемся торжестве.

Через пять лет этот самый Илия был возведен в сан архимандрита, с тех пор оставшийся за настоятелем Соловецкого монастыря, а еще через год (в 1652) состоялось новое перенесение мощей св. Филиппа — в Москву. Это событие произошло в последний год жизни патр. Иосифа, человека слабого и не пользовавшегося большим влиянием на царя Алексея Михайловича. Естественно поэтому видеть инициатора необычайного торжества 1652 г. в Никоне, любимце царском, тогда митрополите Новгородском. Постриженик Анзерского скита в Соловках, Никон, подобно патриарху Иоасафу, имел особое усердие к св. Филиппу, личное желание его прославления. Но то, как были задуманы московские торжества 1652 г., показывает, что у Никона была своя

церковно-национальная идея — и именно та, что легла в основание и нашего очерка. Соборным постановлением было определено перенести для погребения в Успенском соборе останки трех московских иерархов: митрополита Филиппа, патр. Иова, сосланного Лжедмитрием в Старицу и скончавшегося там, и патриарха Гермогена, замученного поляками в Чудовом монастыре. Все три святителя были подвижниками за народное, национальное дело, и пали жертвой тиранической власти. Возвращая святителей в дом Богородицы, в их престольный храм, Москва и прежде всего царь, приносили покаяние за грехи предков, совершали акт примерения земли с ее почившими героями. В Старицу за гробом Иова был послан Ростовский митрополит Варлаам, с боярином Салтыковым и большой свитой. Сам Никон взял на себя почетнейшее поручение, — он должен был перенести не только останки митрополита, но и мощи прославленного чудотворца. Сопровождал его кн. Хованский со множеством дворян и служилых людей. Боярская свита подчеркивала земский, национальный характер торжества.

11 марта, после молебствия в Успенском соборе царь отпустил оба посольства — в ближнюю Старицу и далекие Соловки. Уже 5 апреля в Москве встречали останки Иова. Патриарх плакал и говорил царю: "Вот де смотри, государь, каково хорошо за правду стоять: и по смерти слава". Через несколько дней престарелый Иосиф скончался.

Только 3 июня, с поздним освобождением от льдов Белого моря, Никон прибыл в Соловки. Дорогой он получал письма от царя с извещением о смерти патриарха, в преемники которого царь предназначал своего "собинного друга", с напутствием к благоговейному и опасливому странствию. В море корабли Никона были разметаны бурей: одно из судов погибло без вести, многие разбились о скалы. Наконец, уцелевшие "от великих морских страстей" достигли пристани. После молебна Никон положил на раку чудотворца два послания — от царя и патриарха. Через три дня, проведенных в посте и молитве, за литургией Никон громко прочел грамоту царя к св. Филиппу. Хотя и навеянное посланием императора Феодосия к почившему Иоанну Златоусту, с той же мольбой об отпущении греха отца, она замечательна, как памятник живой веры и чистой души "тишайшего" царя.

"Христову подражателю, небесному жителю, вышеестественному и плотному ангелу, преизящному и премудрому духовному учителю нашему, пастырю же и молитвенику, великому господину, отцу отцем, преосвященному Филиппу митрополиту московскому и всея Руси, по благоволению Вседержателя Христа Бога, царь Алексей, чадо твое, за

молитвы святых ти здравствует. Ничто же ми тако печаль души творит, пресвятый владыко, яко же быти тебе богохранимого царствующего нашего града Москвы во святей велицей и применитей соборней и апостольской церкви... второе, молю тя и придти тебе желаю семо, еже разрешити согрешение прадеда нашего царя и великого князя Иоанна, нанесенное на тя нерассудно завистию и неудержанием ярости, и еже на него твое негодование аки общника и настворит злобы его, яко же пишется: терпчины бо родительные оскомины чадам различные творят... Аще и неповинен есмь досаждения твоего, но гроб прадедний присно убеждает мя и в жалость приводит... И сего ради преклоняю сан свой царский за оного, иже на тя согрешившего, да оставиши ему согрешения его своим к нам пришествием... Сего ради ты молю о сем, освященная главо и честь моего царства, твоим преклоняю честным мощам и повиную к твоему молению всю мою власть, да пришед простиши, иже ты оскорби понапраснству; раскаялся бо о содеянном, и он тогда, и за того покаяния к тебе и нашего ради прощения, прииди к нам, святой владыка. Исправи бо ся тобой и евангельский глагол, за него же ты пострада, за еже всяко царство раздельшися на ся не станет, и несть пререкующего ти глаголати о сведениях Господних, и благодать Божия в твоей пастве, за молитв святых ти, в нашем царстве присно изобилует, и несть уже днесь в твоей пастве некотораго разделения. Аще бы убо было, не бы стояло доселе, разделения ради, но ныне вси единомышленно просим и молим тя, прииди с миром во свояси и свои тя с любовью примут. О священная главо, святой владыко Филипп, пастырю наш! Молим тя, не презри нашего грешного моления, прииди к нам с миром. Царь Алексей желает видеть тя и поклониться мощем твоим святым".

По словам Никона, вся церковь рыдала при чтении этой грамоты, и сам он едва мог читать от плача. Архимандрит просил оставить в монастыре частицу св. мощей. "И егда я, богомolec твой, пишет Никон, начат имати часть от святых мощей, тогда обоня воня благоухания от святых мощей святого Филиппа не мало, и мнози того благоухания сподобились слышати." Покрывши раку царскими покровами, со свечами и колокольным звоном, понесли ее к ладье. "Мнози же путем от плача и слез изнемогше... валяющесе семо и овамо, яко обьюродевшие, ови от радости, ови же от жалости"... Отъехавши от монастыря на пять верст, два дня стояли у Заяцкого острова, выжидая погоду. Еще через сутки, 11 июня, вошли благополучно в устье Онеги.

Никон подробными письмами с дороги извещает царя

об этапах своего путешествия. 20 июня приплыли в Каргополь, оттуда сухим путем двинулись в Кириллов монастырь и по Шексне доехали 25 июня до села Рыбного (Рыбинска) по Волге. 30 июня прибыли в Ярославль. Отсюда опять начинается сухопутное путешествие по великой северной дороге — через Переяславль, Троице-Сергиеву лавру к Москве. Всюду, на остановках вносили мощи в храмы и служили при большом стечении народа. Последняя стоянка была в селе Воздвиженском, в 6 верстах от лавры, где Никон выжидал царского приказа. Он не решился внести драгоценные мощи в деревянную церковь села "за многонародное собрание и неискusstное свещь поставление", — и стоял с ними "под подвижным кровом — в шатре".

9 июля Москва встречала своего великого святителя. Из Успенского собора вышел крестный ход, предводимый митрополитом Ростовским Варлаамом. За ним шел царь в золотом кафтане, с индийским посохом из слоновой кости, в шапке, усыпанной камнями и жемчугом. Огромные толпы народа заполняли улицы Напрудной слободы, где у часовни царь встретил раку угодника. На этом месте был поставлен дубовый крест, давший название Крестовской заставе. Тут общая радость омрачилась печальным событием. Старец Варлаам не вынес усталости и жары июльского дня; опустившись в кресло, он скоропостижно скончался, у самой раки святого. Но государь уже спешил принять на свои плечи святое бремя. Почившего митрополита понесли вслед за св. Филиппом. Дальнейшее шествие и чудеса, совершившиеся в тот день, сам Алексей Михайлович описал в восторженном и взволнованном письме к кн. Н. И. Одоевскому:

"Подаровал нам Бог, великому государю, великого солнца: яко же древле царю Феодосию пресветлого солнца Иоанна Златоустаго возвратити мощи, тако и нам даровал Бог целителя, новаго Петра и второго Павла проповедника, и втораго Златоуста, великаго пресветлаго солнца Филиппа митрополита Московскаго и всея Руси чудотворца возвратити мощи. И мы, великий государь, с богомольцем нашим Никоном, митрополитом Новгородским и Великолуцким, ныне же милостию Божию патриархом Московским и всея Руси, и со всем освященным собором, и с бояры и со всеми православными христианы и с сущими младенцы, встретили у Напруднаго и приняли на свои главы с великою честью, а в кой час приняли, и того часу сотворил исцеление бесной и немной жене, и того часу стало говорить и здрава бысть; а как принесли на пожар (Красную площадь) к Лобному месту, тут опять девицу исцелил при посланникех литовских, а они стояли у Лобнаго места;

а как его световы мощи поставили на Лобном месте, все прослезилися: пастырь, гонимый понапраснству, возвращается вспять и грядет на свой престол; а как принесли на площадь против Грановитья, тут опять слепя исцелил, и якоже древле при Христе во след вопили: Сын Давидов, помилуй! так и в ту пору вопили к нему в след. И таково много множество народно было, от самага Напруднаго по соборную апостольскую церковь, не мочно было ни яблоку упасть, а больных тех лежащих и вопиющих к нему свету безмерно много, и от великаго плача и вопля безмерной стон был. И стоял десять дней среди церкви для молящих и во всю десять дней беспрестани с утра до вечера звонят; как есть на святой недели, так и те дни радостны были; то меньшее, что человека два или три в сутки, а то пять и шесть и семь исцеление получают; а как патриарха поставили (Никона), и он, свет чудотворец, двух исцелил в тот день, и ныне реки текут чудес. Стефанову жену Вельяминову исцелил: и отходную велела говорить, и забылася в уме своем, и явился ей чудотворец и рек ей; "вели себя нести к моему гробу" (а она слепя и ушами восемь лет не слышала и головою болела те же лета), и кой час принесли, того часу прозрела и услышала и встала да и пошла здрава; да не токмо осми лет, и двадцати и тридцати лет целит и кровоточных жен и бесных и всякими недуги исцеляет. А как принесли его света в соборную и апостольскую церковь и поставили на престоле его прежебывшем, кто не подивится сему, кто не прославит и кто не прослезится, изгнанного вспять возвращающаяся и зело с честью приемлемаго? Где гонимый, где ложный совет, где обавники (клеветники), где соблазнители, где мздоослепленные очи, где хотящие власти восприяти гонимаго ради? — Не все ли зле погибоша, не все ли исчезоша во веки"?

И царь заключает молитвенными воззваниями к небесным силам, показывающими, как верно понимал он смысл исповедничества Филиппова и его урки для русской земли. "О блаженныя заповеди Христовы! О блаженна и с т и н а нелицемерная? О блажен воистину и треблажен, кто исполнил заповеди Христовы и за истину от своих пострадал. Ей, не избраша лутче того, что веселитися и радоватися во и с т и н е и п р а в д е и за нее пострадати и люди Божии рассуждати в п р а в д е. А мы, великий государь, ежедневно просим у Создателя, чтобы Господь Бог даровал нам, великому государю, и вам боярам с нами единодушно людей Его световы рассудити в п р а в д у, всех равно; писано бо есть: суд Божий николи крив не живет... и о всех христианских душах поболение мы имеем, и в вере крепким бы и в п р а в д е и во и с т и н е, якоже

столпам стоять твердо и за нее страдать до смерти, во веки и на веки".

Замечательна в этом письме царя ликующая уверенность в уже наступившем торжестве правды, в полном искуплении старых грехов. То же настроение сквозит и в его "молебном послании" св. Филиппу. "Благодать Божия в нашем царстве присно изобилует, и несть уже днесь в твоей пастве никотораго разделения". Если и был в бурной истории русского царства момент достигнутого равновесия, "симфонии" в реализации идеи боговластия, то это именно в середине XVII века. Царь Алексей Михайлович был, может быть, единственным, достойным носить священный венец. Тишайший, благочестивейший, почти святой — он поражает нас силой веры, детской частотой сердца и жадной правды. И что же? Как посмеялась история над его святыми надеждами! Всего несколько лет отделяют ликующие слова его письма от нового грозного "разделения". Снова священство и царство столкнулись в мучительной для обоих борьбе — на этот раз не по вине царя. Еще не много лет, и жестокое разделение прошло по всему телу церкви русской, расколов ее во имя разнаго понимания той самой "веры и истины", стоять за которые до смерти призывал царь Алексей Михайлович. Снова социальные судороги потрясают народное тело: мятеж Разина, стрелецкие бунты. А за ними уже встает исполинский призрак Императора, который нанес смертельный удар святой Руси, ниспровергнув, казалось, все устои, на которых строилось древнее священное царство. Теократия в России окончилась срывом, вместе с крушением национальной культуры. Пышное цветение культа набрасывало покров святости над неправдой, о которой тысячами голосов кричала русская земля. Этой неправды не видел благочестивый царь, как не видел ее и грозный царь, который некогда писал Курбскому: "Украшеньми всякими церкви Божии светятся, всякими благостынями... мучеников же в сие время за веру у нас нет"... Так писал царь, давший русской земле величайшего ее мученика — за правду. Но древняя русская церковь, в лучших ее пастырях и сынах, никогда не отделяла веры от правды и правды от милосердия. И последний патриарх Московский стоял перед новым грозным царем с иконой Богородицы в руках, безмолвным ходатаем, в утро стрелецкой казни...

Об этом служении верного пастыря вспоминает церковь, молитвенно взывая к священномученику:

"Первопрестольников преемниче, столпеправославия, истины поборниче, святителю Филиппе, положивший душу за паству свою".

Э К С К У Р С

ОПРИЧНИНА В ОЦЕНКЕ НОВЕЙШИХ ИСТОРИКОВ

Предлагаемое выше освещение опричнины может показаться устарелым и "ненаучным" для читателя, знакомого с новейшей литературой. Оно, действительно, отзывается скорее Карамзиным, чем Виппером. Последние произведения русских историков нередко дают реабилитацию опричнины и вместе с тем правления Грозного, доходящую иногда до апофеоза. Поэтому автор, к тому же не специалист в науке русской истории чувствует себя обязанным защитить свою несовременную точку зрения.

Конечно, для христианина сложность этой исторической проблемы значительно упрощается. Святой Филипп не был политиком, а лишь защитником "правды" в христианском государстве. Можно условно допустить государственную необходимость опричной революции и суровых мер в борьбе с боярской оппозицией, — все равно: остается общий характер имморализма, презрение к человеческой справедливости, тираническая, "кровопийственная" жестокость, не оправдываемая никакими государственными соображениями. Для историков социальной школы все это мелкие детали, "эксцессы", не уменьшающие их восхищения перед системой. Для христианина, признающего религиозный суд, нравственное качество деятеля, одушевляющий его "дух" — не вторичное, а первичное единственно подлежащее суду. Вот почему мы сходимся в оценке Грозного и опричнины с консервативными историками старой школы — Карамзиным и Иловайским, — хотя по-разному оцениваем смысл русского исторического процесса.

Что же, однако: стоим ли мы в данном случае перед трагическим противоречием между религиозной и национально-политической оценкой? Может быть, из злого семени, посеянного Грозным, выросли добрые плоды, и его революция укрепила государство русское, обеспечив ему века

могущества и славы? Это противоречие между небесной и земной прагматикой возможно; оно составляет одно из сильнейших искушений для человека, пытающегося религиозно осмыслить историю. Не будем расширять этой проблемы до пределов исторической теодицеи. Достаточно указать, что в данном случае, в этом важнейшем узле русской истории, такого, безвыходного противоречия нет.

Показать это на нескольких страницах "экскурса" можно лишь одним путем: указав на последние выводы, к которым пришла подлинно объективная историческая наука, и вскрыв те основания, на которых покоится "научная" апология опричнины.

Здесь мы встречаемся с одним замечательным фактом. Внимательное изучение весьма скудных материалов по истории опричного режима не дало ничего для оправдания этого института. В основе его благоприятных оценок лежат предвзятые идеи, различные болезни "позитивного" научного ума, вскрыть которые и является долгом религиозного и подлинно объективного историка.

Вопрос об опричнине неизбежно соединяется с общей оценкой Грозного и его места в русской истории.

Реакцию против школы Карамзина и славянофилов (К. Аксакова, Ю. Самарина) начинает С. М. Соловьев. Реакция эта была обоснована, как направленная против личного, психологического и морального подхода к Грозному, оставившего без внимания его эпоху и вырождавшегося в дилетантский субъективизм. Соловьев хочет дать "объективную" историю. Но его объективизм выношен в школе Гегеля. Это значит, что он находится в плену идеи о "разумности действительного" и оптимистически рассматривает исторический "процесс", как торжество высшего начала. Этим высшим началом для Соловьева, как известно, является государственность, в борьбе с пережитками родового строя. Шестнадцатый век — эпоха окончательной победы государства над родовыми традициями, доживающими в удельных княжествах и боярском праве. В борьбе с боярством Грозный носитель высшей идеи. Этим определяется и оценка историка. За видимой объективностью творится самый несправедливый суд, где обвиняемых, т. е. побежденных, даже не выслушивают. Происходит это таким образом, что историк строит изображение Иоаннова царствования исключительно по о ф и ц и а л ь н ы м, т. е. исходящим от правительства, источникам. Отсутствие актов судебного процесса, напр., заставляет Соловьева воздерживаться от рассказа о жертвах террора, о которых говорит множество современников. Получается впечатление почти благообразное и политически приличное. Конечно, Соловь-

ев не закрывает глаза и на отрицательные последствия опричнины. Как "произведение вражды, опричнина, разумеется, не могла иметь благого, умирающего влияния". Говорится о губительном "удалении главы государства от государства", отказе от власти от "собственных орудий", о неизбежных злоупотреблениях "временщиков". Но все же читатель, знакомый с Карамзиным, чувствует себя совершенно в ином мире, обескровленном, лишенном бытовых красок. Что касается материала, то он не обильнее, и даже скуднее, чем у старого историографа, благодаря отводу иностранцев. Большую часть VI тома Соловьёва занимают события внешней истории, которая изображается вне связи с внутренней. Причины поражения в Ливонской войне не ясны. Несколько замечаний об уродливых эксцессах опричнины не вносят ничего в понимание процесса. Можно сказать, что от читателя требуется вера в его разумность, несмотря на явно катастрофический его исход.

Другие современники Соловьёва, особенно представители той же "историко-юридической" школы, довели идеализацию Грозного до абсурда. К. Д. Кавелин считал Грозного "великим", предтечей Петра Великого, которого погубила "тупая, бессмысленная" среда. Аналогию с Петром проводил и Бестужев-Рюмин, считавший обоих государей людьми "с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинаковым почти средством для достижения их". Для западников XIX века аналогия с Петром В. была уже достаточным оправданием. Станным образом забывалось одно: что Петр создал империю, а Иван чуть не разрушил царство, потерпев крушение на всех фронтах. А казалось бы, для историков, чуждых субъективизма, исторический успех должен служить главным мерилom оценки.

Таким образом, для историков этого направления апология Грозного вытекала из предвзятой оптимистической концепции "исторического процесса", связанной с преувеличенной оценкой государственности.

Станным образом эта положительная оценка Грозного просачивалась и в некоторые круги русской интеллигенции, почти анархически относившейся к государству. Здесь в пользу Грозного говорил демократический догмат, признанный почти всем без исключения русским обществом. Грозный сломил родовую аристократию и передал управление в руки худородного дворянства. В глазах многих, это была заслуга, искупавшая все. Никто не ставил себе вопроса: что действительно выиграла Россия от насильственного истребления старого, культурного, свободолюбивого правящего слоя, связанного с местными мирами и древними национальными традициями, и что она приобрела с револю-

ционными вторжением в ряды правящего класса массы проходивцев, татар, казаков и беглых преступников?

В. О. Ключевский соединял демократические симпатии с пониманием государственных задач московского царства. Но его спас от идеализации Грозного великорусский здравый смысл, уловивший противоречия между торжественным пафосом православного царя и капризным самодурством тирана. Ключевский относится к Грозному иронически. Он судит не столько его моральный характер, сколько его прославленный ум. Ключевский не хочет, подобно Карамзину, вызывать кровавых призраков. Он оценивает Грозного, как правителя, — и приходит к выводу, что непоследовательность, противоречивость, распущенность, лежащие в основе его характера, оказали губительное влияние на его политическое дело. Этот приговор историка целиком относится и к опричнине.

Быть может, к опричнине Ключевский подходил несколько упрощенно. Он видел в ней "жандармский корпус" для политической борьбы — не более. Заслуга выяснения социального смысла опричнины принадлежит проф. С. Ф. Платонову.

В своих "Очерках по истории смуты" С. Ф. Платонов вскрыл аграрное содержание опричной реформы: массовую переброску служилых людей из уездов в уезды, разрушившую старые связи между боярством и населением, особенно в центральных областях государства. Опричнина впервые представилась, как опыт создания нового военно-служилого класса, с целью построения на его основе новой, сильной государственности, освобожденной навсегда уже от удельно-княжеских традиций. Эта работа Платонова продолжалась и продолжается его школой в исследованиях, по новым актовым материалам, организации управления в "опричной" или "дворцовой" половине государства. В результате этих работ выяснилась продуманность, систематичность учреждения, в котором раньше видели лишь судорожную реакцию тирании. Вместе с тем монографические исследования других сторон управления в эпоху Грозного должны были высоко поднять в наших глазах политические способности этого государя. Отсюда, впрочем, далеко еще до положительной оценки этой системы. Сам глава петербургской исторической школы не сделал таких выводов, и не мог их сделать, ибо связывал изучение опричнины с генезисом великой смуты. Только революционная эпоха выдвинула ряд апологетов опричнины и в то же время попытку небывалого апофеоза ее творца.

Последняя попытка принадлежит Р. Ю. Випперу. В своей блестящей, богатой идеями книжечке "Иван Грозный (Мо-

сква, 1922) этот историк, впервые подошедший к русским темам, нарисовал Грозного на фоне европейского и азиатского XVI века, впервые крепко связав внутреннюю политику Москвы с внешней. В этом внимании к международной обстановке действительная заслуга автора. Но в изучение русских дел Виппер не вносит ни новых материалов, ни новых методов. Книга его не исследование, а панегирик. Он насыщен страстью, и за апологетической его внешностью сквозит ненависть, питаемая болью сегодняшнего дня. Виппер пишет свою книгу под мучительным впечатлением гибели русской империи и, вознося Грозного, вымещает свой гнев на либеральных и гуманных людей последнего столетия, охладевших к идее "грозной" власти. Подобно Макиавелли, в патриотической боли своей Виппер ищет тирана — и утешается им ретроспективно, отдыхая в Москве Грозного от Москвы 1917 г. Виппер всегда был материалистом, видел в истории лишь слепую и бессмысленную игру сил. К явлениям духовной жизни он проявлял слепоту феноменальную. Но созерцание могущества торжествующей силы (Рим) было для него источником исторического вдохновения. Впрочем, Виппер ни унижается до любования террором Грозного. Он довольствуется его оправданием. Опричнина была напряжением военных сил государства в чрезвычайно тяжелой обстановке войны. Разгром Новгорода должен был (чем?) "исправить поколебленное военное положение", и т. д. Опричнина отражает стремления "демократии" XVI в. Демократический собор 1566, в разрез с прагматикой и здравым смыслом (см. выше) связывается с учреждением опричнины в 1565 г. Превращение опричнины в "двор" в 1572 г. Виппер понимает, как расширение системы под влиянием новгородской "измены" (кавычки Виппера) и крымского нашествия. Виппер не догадывается (а это выяснилось для всех с опубликованием записок Штадена), что опричная реформа 1572 г. была, на самом деле, реакцией, в которой погибли главные опричные деятели, и что сожжение Москвы ханом показало правительству ненадежность опричного корпуса и значение земской рати. Разумеется, для Виппера остается непонятной и конечная катастрофа Ливонской войны. "Судьба Ивана IV — настоящая трагедия завоевателя, который сорвался на слишком крупной игре, потому что бросил на весы счастья все свое достояние и вместе с потерей новой колониальной добычи, глубоко расстроил основы старой империи". Виппер не замечает, что в этом самый жестокий приговор, какой можно произнести над политическим деятелем. Сам автор необыкновенно увлекательно изобразил мощь московского государства, созданную Иваном III. Теперь оказывается,

что гениальный Иван IV (сравниваемый с Петром В.) проиграл в азартной игре наследство предков.

Книга Виппера встретила сочувственный прием у русских историков (рецензия А. Преснякова в "Анналах" № 2), благодаря новизне идей и исторических аналогий. Но и в самом духе нашего времени лежит объяснение ее большого успеха. Один из вождей большевизма, историк М. Н. Покровский в разных очерках своей "Русской истории" дает апологию Грозного. Исторический материализм и анти-морализм роднят его с Виппером. При различии политических вкусов это историки одной школы. У Покровского оправдание тиранов — одна из любимых исторических тем; она питается у него общей всему марксизму ненавистью ко всяким формам аристократии и к самой идее свободы. Покровский сделал Грозного вождем демократической революции по тем же мотивам, по которым он пишет апологию "демократа" Павла I и мстит дворянам-декабристам.

Любопытнейшим смешением двух стилей — Виппера и Покровского — является очерк И. И. Полосина, написанный в качестве предисловия к запискам Штадена. На фоне широкой картины международных отношений Московской Руси, Полосин рисует опричнину, как "настоящую социальную революцию", без которой "были бы немыслимы блестящие успехи Грозного". Под этой революцией понимается факт усиления мелко-поместного землевладения. Термин "социальной революции" для автора, по-видимому, избавляет от доказательств ее политической ценности. Несколькими неожиданно на следующей (41) странице читаем: "Дальнейшее углубление социальной революции грозило бытию государства". Изучение Штадена для автора не прошло даром. "Царь Иван политик нервный, но чуткий — сам же стал во главе реакции", которая оказалась неизбежной после "беспощадных крутых мероприятий революционных лет". Почему же аграрные мероприятия царя неизбежно должны были получить "беспощадный крутой" характер? Ответа нет, если не искать его в психологическом воздействии на автора двух ленинизмов: эпохи военного коммунизма и эпохи "Нэпа".

Через год после книги Виппера вышла брошюра С. Ф. Платонова "Иван Грозный" (Пет. 1923 г.) — только брошюра, но подводящая итоги почти полувековой работы первоклассного специалиста. Каждое слово здесь продумано и взвешено. Вне всякой полемики, автор защищает свое понимание Грозного от увлечений старых моралистов и новейших апологетов. Уверенно и спокойно старый мастер ставит все вещи на свое место. С. Ф. Платонов остается высокого мнения о политических талантах царя Ивана. Гроз-

ный является для него "крупной величиной". Вступительная глава может вызвать даже опасение, что автор задумал еще одну апологию тирана. Однако, чем более читатель углубляется в историю царствования, обогащенную научной жатвой последних десятилетий, тем более знакомый образ вырисовывается перед ним: Грозный встает таким, каким его знали консервативные историки XIX века. Автор не имеет "никакого желания приводить подробности гонений и казней", но в своей осторожной характеристике царя признает "ненормальности": и "чувство страха перед несуществующими опасностями", "начатки мании преследования" и "садизм", т. е. соединение жестокости и разврата", и отсутствие мужества. Но нас интересует оценка опричнины.

Говоря о "внутреннем расстройстве Московской жизни", приведем к поражению в войне с Баторием, С. Ф. Платонов указывает двоякие причины. "Одни заключались в так называемой опричнине Грозного и ее следствиях, другие — в том стихийном явлении, что трудовая масса московского населения пришла в движение и, покидая старую оседлость, стала рассеиваться по направлению от центра к окраинам государства".

Таким образом, опричнина из необходимого орудия трудной войны (Виппер, Полосин) делается причиной поражения. Нарисовав широкую картину аграрно-классового института (не останавливаясь на "эксцессах"), автор переходит к его последствиям. — "Во-первых, пересмотр княжеского землевладения превратился в опричнине в общую земельную мобилизацию, принудительную, тревожную и потому беспорядочную... В с л о и н а с е л е н и я, попадавшие под действие опричнины, терпели в хозяйственном отношении и приводились — вольно или невольно — из оседлого состояния в подвижное, чтобы не сказать — бродячее. Достигнутое государством состояние устойчивости населения было утрачено, и в данном случае по вине самого правительства". "Во-вторых... Грозный считал нужным соединить эту операцию с политическим террором, казнями и опалами отдельных лиц и целых семей, с погромом княжеских хозяйств и целых уездов и городов. С развитием опричнины государство вступило в условия внутренней войны, для которой, однако, не было причин. Царь преследовал своих врагов, которые с ним не сражались"... "Результатом этого безумного и во все не нужного террора было полное расстройство внутренних отношений в стране"... "Не меньшее ожесточение, чем в боярстве, было и в других слоях населения. Опричнина и террор были в с е м н е н а в и с т н ы, кроме разве тех, кто с ними связал свой житейский успех. Они поставили все население

против жестокой власти и в то же время внесли рознь и в среду самого общества. По меткому замечанию англичанина Дж. Флетчера, бывшего в Москве вскоре после смерти Грозного, низкая политика и варварские поступки Грозного так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно было окончиться не иначе, как всеобщим восстанием. Сделанное до смуты, это замечание вполне было оправдано последующими московскими событиями".

Так последнее компетентное слово исторической науки совпадает с единодушной оценкой современников — русских и иностранцев, — и вместе с тем подвиг митрополита оправдывается и перед судом государственного разума.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ГРАМОТЫ МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА В СОЛОВКИ

Грамота 1.

Благословение смиренного Филиппа, митрополита всея Руси, старцу Ионе и старцу Паисею, келарю и казначею, священникам и всей яже о Христе братии. Как вас Бог милует, все ли во спасении здравствуете? А здесь у нас на Москве дал Бог, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, и благоверная царица, великая княгиня Мария, и его благоверные чада, царевич Иван, и царевич Феодор, и благоверный князь Влодимер Андреевич, и князи и бояра, и все православные христиане, пречистыя Богородицы молитвами, и великих чудотворцев Петра и Алексея и Ионы и всех святых, дал бог по здорову. И сталася Божия воля. Царь и великий князь, и царевичи, и архиепископы, и епископы, и князи и бояре принудили мя недостойнаго на сий великий престол всея Руси. И яз вас благословляю, чтобы естя жили в любви яже о Христе, и попеклися бо естя о бессмертных своих душах, и закон монастырский хранили. А о игумену есмь царю государю, великому князю, не вспоминал потому, кое без вашего совета. И будет вам игумен надобен, и вы бы о том по времени посоветовали, да прислали грамоту за руками, кому Бог благословит быти, и вы излюбите. А яз вас благославляю и челом бью. Бога ради, молитве Господа Бога и пречистую Его Матерь, и великих чудотворцев Зосиму и Савватея, и всех святых, соборне и келейне, за православнаго царя государя, великого князя Ивана Васильевича всея Руси, и за его благоверную царицу, великую княгиню Марию, и за их благородные чада, царевича Ивана и царевича Феодора и за князя Влодимера Андреевича, и за христоролюбивое воинство, и за вся православные христиане, да и за нас грешных. Да бога ради простите мя грешнаго во всем, старец Иона, и священници, и вся яже о Христе братия, от мала и до велика, и слуги все от мала и до велика, и христиане все от мала и до велика. Перед всеми есмь вами во всем виноват без рассуждения. А вас всех Бог простит. Да послал есмь вам на всю братию, фунт перцу, гвоздики гривенка, шафрану гривенка в уху. Прочее здравствуйте о Христе. Мир вам.

* *
*

Грамота 4.

Благословение преосвященнаго Филиппа, митрополита всея Руси, в пречестную, великую обитель боголепнаго Преображения Господа Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа, и святых преподобных великих чудотворцев Зосимы и Савватаея, в общий Соловецкий монастырь духовному настоятелю, сыну и сослужебнику нашего смирения, игумену Паисею, и священником, и старце Ионе, и келарю и казначею, и всей же о Христе братии. Как вас Бог милует, все ли в спасении здравствуете? А яз Филипп Божео милостию, государевым царским здравием и вашими святыми молитвами телесно жив. Да спаси Бог вам на рыбе, прислали естя ко мне двадцать рыб просольных, да девять свежих непоротых, а рыба просольная и свежая мелка, и средней мало, да двенадцать вялых, да полбочки сельдей, да прудовых сельдей кадочка ведра в полтора. На сем вам не спаси Бог, навели естя на меня скорбь великую, яз вам приказывал с игуменом с Паисеею и с старцы, и грамоты посылал, чтоб ко мне не присылали ничего поминков, ни рыба, и вы меня не слушаете, навели естя на меня скорбь великую на Москве и в монастыре, и ропты непомерные, душа ваша подынет (?) и не постави вам Господи в грех того. Да послал еси к вам с Махилевым с Степаном два блюда серебряных великих на доору на большую и на меньшую, а стали мне близко тридцати рублей, да ладанницу серебряную ж велику, да чару велику с рукоятми медяну лужену, вода святить, и вы б ко мне то отписали: довезл ли вас те сосуды, или не довезл, и вы б у него взяли, а ко мне бы естя о том известно учинили. Да послал еси к вам денег десять рублей со слугою с Селюгою на пруд, что за дворцом, и вы б его вычистили на готово, ино пруд будет великой, похвальной, а покинути его ино от Бога будет грех, а от людей сором, а жаль прежних трудов и убытков, а уж готов и плотина сделана, только вычистить, а делать приказал старцу Мисаилу, да слуге Селюги, те вам его сделают наготово, и монастырю будет похвала, и рыбу станете сажати, ино рыба держится и приплоду в нем чаяти. Да как поехал яз к Москве, ино у меня осталось в монастыре три трубы верченых, да столб, а везти было их в Заяцкие воды для (?) положить, и вы б Бога ради те сделали, а приказал еси делати Селюгич, и как Бог помилует сделает, вы б его Бога ради и нас ради пожаловали, и нам бы естя о том известно учинили, как ваша любовь к нам, а не пожалуете не станете делати игумен Паисия и братия, и яз приказал Мисаилу и Селюге людей наймовати и хлебом кормити своим, а не пожалуете не дадите и так делати, и вы б ко мне известно ж учинили. Да что Герасим издержал денег на проезд до Москвы едучи с рыбою, и яз ему и те деньги дал, тридцать алтын без трех, а на Москве ели и пили у меня, и до поезду. Да послал еси к вам на стол братии, и с квасом, и слугам и детям восемь рублей, с слугами с Герасимом, да с Селюгою, да послал еси к вам братии три рубля милостыни, на двести братьев по полуалтыну, да детям на триста человек полтора рубля, по деньге. И ты б игумен Паисея Бога ради стол велел на братию поставити, и на слуги и на дети с квасом, да за столом бы еси помянул братию, чтобы молили Бога за благовернаго царя и государя, великого князя Ивана Васильевича всея Руси, и за благоверную царицу великую княгиню Марью, и за благодарованные чада, царевича Ивана и царевича Феодора, и за христолюбивое воинство, и за все православное крестьянство, и меня б грешнаго во святых молитвах своих поминали. А яз благославляю и много челом бую, а милость Божия и пречистыя Богородицы и великих чудотворцев молитва и благословение, до нашего смиренья благословенье да есть всегда с вашим преподобством во веки аминь. Писано на Москве лета 7076 (1568) генваря в 30.

Дѣ яз вас благословляю и челом бую игемуну Паисею и всю братью, Бога ради живите любовно.

ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИЯ

Источниками для биографии Св. Филиппа служат два жития его, составленные в конце 16 — нач. 17 в. Напечатаны из них лишь отрывки в примечаниях к IX тому Карамзина. По ним составлено краткое славянское житие в печатном "Прологе" (9 января) и подробное переложение. А. Н. Муравьева: "Жития святых российской церкви". Январь С.П.Б. 1857.

Кроме того, составителем использованы:

Акты исторические, т. I.

Акты Археографической Экспедиции, т. I и II.

Собрание Государственных Грамот и Договоров, т. I и III.

Полное Собрание Русских Летописей, т. III (Новгородская Летопись) и VIII (Воскресенская л.).

Русская Историческая Библиотека, т. III ("Александро-Невская" летопись).

Грамоты Митр. Филиппа ("Душеп. Чтение", октябрь 1861.)

Иосиф Волоцкий, "Просветитель", Казань, 1896.

Максим Грек, Сочинения, т. II.

Герберштейн, Записки о Московии (лат. изд 1506 г.).

Кн. Курбский, Сказания, изд. Устрялова (2-е) 1842.

Записка Taube Kruse в Sammlung russischer Geschichte, t. X. Dorpat 1816.

Г. Штаден, О Москве Ивана Грозного, (Пет.) 1925. (Здесь новейшая библиография).

А. С. Архангельский, Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, С.П.Б. 1882.

Барсуков, Источники русской агиографии.

В. Вальденберг. Древнерусские учения о пределах царской власти, Петр. 1916.

Р. Виппер, Иван Грозный, М. 1922.

Е. Голубинский, История русской церкви, т. II, I.

И. Грабарь, История русского искусства, вып. 6.

Кн. Долгоруков, Российская Родословная Книга, ч. IV, С.П.Б. 1857.

Арх. Досифей, Географическое, историческое и статистическое описание Соловецкого монастыря. М. 1900.

М. Дьяконов, Власть московских государей, С.П.Б. 1889.

В. Жмакин, Митрополит Даниил и его послания, М. 1881.

Иловайский, История России, т. II.

Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. VII, VIII и IX.

В. О. Ключевский, Древнерусские жития святых. М. 1871. Курс русской истории, т. II. Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря; Русский рубль XVI—XVIII в. ("Опыты и исследования", М. 1912).

Митр. Макарий, История русской церкви, т.т. VI, VII и VIII.

С. Ф. Платонов, Иван Грозный, Пет. 1923. Прошлое русского Севера, Берлин, 1924.

С. В. Рождественский, Митрополит Филипп ("Русский Биограф. Словарь", библиография до 1901 г.).

П. А. Садиков, Из истории опричнины царя Ивана Грозного ("Дела и Дни" № 2, 1921 г.).

С. М. Соловьев, История России, т. V и VII.

Хрущов, Исследование о сочинениях Иосифа Санина, С.П.Б. 1868.

Остались недоступными автору: Б.М.Л.Б.К. (барон Боде-Колыцов), Боярский род Колычовых (М. 1886; Арх. Досифей, Летописец Соловецкий; "Начертание Жития м. Филиппа" (М. 1860) и "Русские Святые" арх. Филарета.

**Дополнения
от
издательства.**

И. В. Н. ИЛЬИН

Г. П. ФЕДОТОВ — СВЯТОЙ ФИЛИПП МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ*

Книга г-на Федотова вряд ли вызовет разнообразие в ее оценке. Ее счастливая судьба — вызывает восхищение у лиц самых различных, даже непримиримых мирозозерцаний. Необычайная надземная чистота, ученая объективность ("Sine ira et studio") и блестящая литературность — вот те свойства книги Г. П. Федотова, которыми она очаровывает сердце и ум читателя. Здесь дышит благоговение и просветленная, ясная скорбь, нигде не оставляющая своих высот. Так и надлежит писать ученому, полагающему свой трудовой дар к подножию раки святителя-мученика. Особенно заслуживает быть отмеченным мастерский синтез исторического воспроизведения и философии истории — нигде не вторгающейся в работу историка и не искажающей ее. Это тем более важно, что с философией истории, имеющей место на страницах книги Г. П. Федотова, далеко не все согласятся. Не согласен с ней и пишущий эти строки. Не входя в полемику, мы только формулируем основную мысль автора — тем более, что она должна быть признана столь же глубокой, сколь и морально (н о т о л ь к о м о р а л ь н о) верной. "В теократической монархии, какой была или стремилась быть древняя Русь, грех царя падал на весь народ и требовал всенародного искупления" (стр. 84). Верно поставлен и основной вопрос трагической эпопеи: "Православный царь, убивающий святителя, стоит ли с ним на одной общей почве?" (там же). С точки зрения автора, которая в одном определенном разрезе, конечно, верна, — ответ может быть, конечно, только отрицательным.

Что касается чисто исторической части книги, то автор усилил бы впечатление от необычайных и разнообразных дарований св. Филиппа, совмещавшего в своей личности аскета, праведника, доброго хозяина, твердого печальника за гонимых и мученика — если бы упомянул о необычайных хозяйственно-технических талантах великого святителя. Устройство водопровода, веялок, зернонасыпательных повозок, усовершенствованной сушки зерна — все это приводит в восхищение летописца, все это восторгает и нас. Пример св. Филиппа убеждает нас в том, что хозяйственные дарования и практический смысл, "служба Марфы", может и в каком-то смысле даже должна совмещаться с созерцанием и подвигом, — "со службой Марии". Но, как сказал мудрец, "все славное столь же трудно, сколь и редко".

* "Путь", орган русской религиозной мысли. Париж, апрель 1928, № 10, стр. 133–134.

П. Ю. ИВАСК

МОЛЧАНИЕ*

(Памяти Георгия Петровича Федотова)

Георгий Петрович Федотов писал статьи, читал лекции, любил беседу. Но что бы он ни говорил, всегда чувствовалось: невысказанное в его писаниях, чтении, паузы в разговоре — еще значительнее сказанного, написанного.

Что-то самое главное не умещалось в красноречивой латыни его статей, в бережно-слаженной изящной речи и не покорялось его необыкновенно-дисциплинированной мысли.

О чем было это молчание?

Отчего было столько затаенной грусти в его светло-синих глазах (под обманчиво-грозными бровями)?

Об этом мы ничего не знаем.

Было бы нескромно и как-то бездарно объяснять его молчание психологически.

Но его молчание было также — творческим, и об этом можно говорить (хотя бы и ошибаясь). Творчество — общее достояние.

Все-таки не откажусь от одного психологического объяснения. Мне кажется, в беседе Г. П. нередко молчал, даже хранил молчание, потому что мудро и как-то кротко предпочитал "претерпеть до конца" — когда люди "говорят глупости", "болтают вздор". Но это только в том случае, если глупость сочеталась с беспомощностью. Его мудрую кротость иногда принимали за коварство. В этом смысле ошиблась даже умнейшая З. Н. Гиппиус. — Не почувяла ли она в нем единственно серьезного соперника (по уму и особой восприимчивости "всеми порами")? И — озлилась... Излила — яд. Но Г. П. не почувствовал себя "ужаленным".

Теперь о "творческом смысле" его молчания.

У Г. П. было необыкновенное чувство ответственности. И именно этим объясняется, что он до конца донес два тяжелых "груза": православие и социализм... Был профессором православной академии и членом социалистической организации (Лиги).

А между тем, что общего было у него с некоторыми социалистами, упрямо-педантичными комментаторами своих "пророков и законов" или с некоторыми богословами — ненавистниками чуть ли не всего рода человеческого?..

Для какой-то части русской "элиты" всякая организация, система — всегда будто бы измена. Вообще, русские очень часто недоверчивы ко всякого рода порядку или же слишком легко подчиняются ему...

Но не из желания найти какую-то опору для себя лично, а именно из

* Печатается по републикации в журнале "Наше наследие", 1988, IV, стр. 53.

чувства ответственности Г. П. связал себя с этими двумя силами — социальными, историческими и добрыми по его глубокому убеждению. Социализм был для него одной из лучших рабочих гипотез для организации труда. А принятие православия — самое большое и положительное событие в русской истории. Это нарочито минимальные определения. И делом жизни Г. П. было вложить живое содержание в понятия православия и социализма или использовать лучшее, что было в них заложено. При этом он чаще всего применял критический метод. Критика — по его пониманию — ценна, если она голос совести, которая уничтожает то, что должно быть уничтожено. Так он и делал. Выкорчевывал плевелы на "посевной площади" православия и социализма. Вращивал добрые посевы. Это была его основная работа.

Он всегда давал столько, сколько нужно. Создавал чуждую беспорядочному русскому сознанию школу мысли (философско-исторической, социально-нравственной и творческой). Его фрагменты истории русской культуры — лучший университет свободной России (через 25—50—100 лет...).

Конечно, он не вмещался ни в православие, ни в социализм. Не взялся за неблагодарное дело воспитания и не считал себя вправе все "выкладывать", индивидуалистически "капризничать", "интересно" исповедоваться...

Бердяев упрекал его, что он слишком "сводит концы с концами", слишком гладко пишет. За этим упреком — очень русский предрассудок: всякий порядок будто бы исключает искренность... А Г. П. был всегда — "в форме" и не боялся красноречия. Писал стройно — и когда нужно коллол правдой (критика). И вместе с тем творчески ободрял, указывал на добрые силы.

Молчание же его — воспитывающее. Молчание учителя, который хочет принести действительную нравственную пользу. Да, пользу — не убоимся этого слова из старого интеллигентского словаря. От этического наследия интеллигенции он ведь никогда не отказывался.

Еще было молчание мудреца, много понявшего в "последних вещах" (letzte Dinge). Сказать об этом трудно. Вот намек. — Г. П. любил этот мир. У него была природная жизнелюбность. Его радовало и беззастенчиво-яркое утреннее солнце, и русский (поэтический!) моросящий дождик. Радовали и вещи — прекрасные вещи, сделанные человеком, — и не только искусство (стихи, соборы). Его могло радовать и приятное блюдо (скажем, пельмени).

Еще была у него страстная натура. Его многое увлекало до самозабвения. Строгий стилист и молчальник — он был по существу романтиком. Был романтическим поэтом по восприимчивости. Был горячим человеком. Как-то он сказал, что слушая просительную ектению, не может молиться о мирном окончании живота... — Надо умирать на баррикадах или хотя бы под забором, не в кровати, "мирно"...

Он не только философ — историк культуры, давший ясную формулу антиномии — конечного и вечного. Не только судья истории и строитель Нового Града. Он еще поэт, страстный и нетерпеливый романтик, сурово себя обуздвающий. Он еще строгий, взыскательный к себе, молчальник. Помнящие его знают — мало было умов, сердец с такой загаенной жадной полноты. И сколько было в нем желаний добра и великой грусти. Но он утаивал свои сомнения, недоумения, также как моления благодарения. Утаивал из скромности и по велению долга. Это было трудно. Но была у него еще надежда — и он говорил, что это лучшее слово "человеческого языка".

Его молчание воспитывает, учит бережно относиться к слову и с надеждой идти дальше, выше. Его молчание также умудряет высшим знанием: истинная мысль, настоящее чувство вызревают в напряженной тишине. Конечно, его творческий дар давал ему радость. Но бремя долга и

добровольно принятое иго молчания — физически изнуляли, довели до болезни сердца. Он часто повторял Ходасевича — мне все труднее дышать "тяжким воздухом земли".

Он становился все хрупче, легче. Как-то необыкновенно бережно (прощаясь) касался вещей. Все меньше говорил. Все больше молчал. Был тихий светлый и вместе с тем, до самого конца — такой живой.

(1952)

III. Ю. ИВАСК

ЭСХАТОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Памяти Георгия Петровича Федотова (1886—1951)*

"Когда Св. Людовика Гонзаго, римского семинариста, игравшего в мяч со своими товарищами, спросили, что он стал бы делать, если бы стало известно, что конец мира наступит сейчас, немедленно, он ответил: "Я продолжал бы играть в мяч". Людовик скончался 23 лет, ухаживая за чумными больными, и ответ мальчика остался выражением самого зрелого социального опыта христианства. Одно из двух: или играть в мяч грех, и тогда следует бросить это занятие независимо от того, когда кончится мир. Или эта игра входит в круг оправданных телесных или социальных упражнений, в круг облекающей нас и творимой нами культуры, и тогда к чему разрывать этот круг, лицемерно обманывая насчет своей бестелесности грядущего Господа? Ответ Гонзаго, понятый по-настоящему, как слова святого, а не просто шаловливого мальчика, предполагает высшую степень социальной дисциплины и ответственности: "я должен быть на своем посту". Будет ли мой пост в школе, библиотеке, или в монастырской поварне, религиозное отношение к служению не меняется. Если нас, русских, часто шокирует ответ Св. Людовика, то лишь потому, что мы не вполне уверены в христианском смысле истории и культуры". Далее — выводы: "Вот максима личной жизни: живи так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и одновременно так, если бы ты был бессмертен. И вот максима культурной деятельности: работай так, как будто бы история никогда не кончится, и в то же время так, как если бы она кончилась сегодня. Противоречие? Нет. Трудность? Еще бы..." Это выписка из очерка Г. П. Федотова *Эсхатология и культура* (1938 г., перепечатанного в сборнике *Новый Град*, 1952 г.). Здесь дается ответ на вопросы о конце, смерти, вечности, и о жизни, о работе в измерении времени.

Раскроем формулу Г. П. Играть в мяч весело, но, например, подметать пол скучно. Но всякую работу надо делать хорошо, и с уверенностью, что она будет закончена. Все же, это не самое главное в жизни, и незачем очень уже своими трудами гордиться. Едва ли уборщик, — но иногда писатель или художник, профессор или студент, инженер и реже рабочий, врач (опять-таки реже санитар) склонны преувеличивать значение своей работы и, в особенности, творчества. Так, мы даже говорим о вечном в искусстве: будь то Акрополь или Айя София, Джиото или Рублев, *Илиада* или *Война и Мир*. Но нет ничего вечного на земле. Ученые предсказывают потускнение солнца или т. н. тепловую смерть. Наше Св.

* Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. Париж — Нью-Йорк, 1972, № 103, стр. 100—110.

Писание предвещает конец мира, Страшный Суд, — правда, и вечное блаженство, но уже в другом мире, где времени нет. Это — эсхатология, которая иногда приводит к желанию уйти из мира и спастись в пустыне, на Афоне. Или же эсхатология вырождается в нигилизм: пусть всё идет прахом, пропадай моя телега — все четыре колеса! Еще есть нигилизм обывательский: такая уж наша жизнь, даже *жить*, но как-нибудь проживем, по возможности приятно.

Нужно найти равновесие между мыслями о конце и заботами сегодняшнего дня. Нужно избегать самодовольства, пошлости, как и чрезмерной беззаботности, а также монотонной инерции. Нужно не поддаваться мрачным раздумьям о смерти и избегать очень уж радужных, но безответственных мечтаний о вечности. Да, живи, как будто ты никогда не умрешь и так, как если бы тебе суждено умереть через минуту. Вкладывая душу в каждое *сейчас*, но и помни о том, — с чем каждое *сейчас* соседствует: это смерть, а также и вечность. Баланс этот часто нарушается, и не только в личной жизни, но иногда и в истории нации.

Н. А. Бердяев в своей еретической, но всё же очень значительной книге *Русская идея*, утверждает: русские эсхатологичны, они или апокалиптики или нигилисты. Они живут "идеалами" Царства Божия или социального рая. Но и склонны к бессмысленному бунту, будь то пугачевщина или хаос октябрьской революции. Иначе: или всё, или ничего! Это значит: русские не строители.

Казалось бы, легко опровергнуть Бердяева. Русские упорным трудом осилили неплодородный суглинок средней и северной Руси, создали сильное московское государство, позднее петербургскую великую державу. Русь прославилась себя зодчеством, иконописью. Россия дала литературу, музыку всемирного значения. Пушкин, а он не только гениальный поэт, но и целый аспект русской души, не апокалиптик, не нигилист. Великий химик Менделеев лучше многих учитывал богатства России и проповедовал *постепеновщину*, т. е. эволюцию, а не революцию. Все эти факты, конечно, были хорошо известны Бердяеву. Всё же он утверждал, что русская идея — эсхатологическая, иногда вырождающаяся в нигилизм. Назначение России: взыскание града невидимого. Выводы: когда этот град не взыскивается, русский по-разбойничьи орет *сарынь на кичку*, бунтует или же рабски становится *во фронт* перед тиранической властью. Русский хочет быть ангелом, а если он ангелом не делается, — становится демоном — бесом. Русский стремится к полной свободе, но и легко делается рабом. Он — человек крайностей. И эта катастрофическая философия истории и эсхатология была источником радости для революционного духа Бердяева, — писал Федотов (*Бердяев-мыслитель*).

Можно понять увлечение Бердяева крайностями и его стремление к чистой духовности. Бердяев признавался (в книге *Самопознание*), что с трудом преодолевал манихейский соблазн. Манихеи верили, что Творец — темный злой Бог, и они порывались уйти из мира природы и истории к светлому богу — чистому Духу. И у Бердяева была непреодоленная им брезгливость ко всему тварному, к "сексу", даже к еде...

В книге *Смысл истории* Бердяев утверждал, что смысл ее в том, что она должна кончиться. Русские будто бы знают это лучше других. Отсюда их подозрительность, а иногда и презрение к тому, что именуется культурным строительством. Всё, — и это одна из антиномий Бердяева, — история его увлекала. Бердяев — марксист, Бердяев — идеалист, Бердяев — христианский философ и социалист-персоналист был страстно заинтересован в делании культуры. После высылки из СССР, в своей книге *Философия неравенства*, он готов был, вслед за К. Леонтьевым, оправдать и социальное неравенство во имя культуры. Но в годы последней войны он (как писал Г. П. Федотов) "склонил свою гордую голову (...) перед коммунистической революцией", хотя позднее и преодолел этот свой соблазн Октябрем.

В чем-то Бердяев был прав. Россия строила, обливаясь потом, строила и в духе, но всё же никогда не обретала того равновесия между крайностями, как это было на Западе. Запад строил не лучше России, но прочнее. На Западе были революции, были гражданские войны, как религиозные, так и политические, но западный человек меньше менялся, чем русский человек. Большевикам удалось так изменить Россию, как она никогда еще не менялась и как не менялись западные народы, по крайней мере, за короткий отрезок времени. Дореволюционная Россия куда дальше от Солженицына, чем наполеоновская эпоха от Толстого. Православие большевики не убили и не убьют, но все мы знаем, что они с Россией делали и делают. Пусть они отказались от ленинского и сталинского террора, но продолжают душить веру, мысль и, новую выдумку, сажают инакомыслящих в сумасшедшие дома.

Не будем обсуждать, почему именно всё так произошло. Но, может быть, одна из причин, хотя бы не главная: неуравновешенность русского человека, и эта черта иногда казалась Бердяеву положительной... А Федотов хотел уравновесить эсхатологию и культуру, небо и землю... Его основная задача была простая, но и трудная: 1) заготовление материала для нового чаемого им строительства христианской культуры и 2) оправдание христианской культуры.

В России были замечательные историки. Но они уделяли внимание преимущественно политической, экономической, юридической истории. Г. П. в очерке *Россия Ключевского* писал, что Ключевский оставил в стороне русскую культуру и Россию духа. А книги, статьи Федотова, вместе взятые, намечают, хотя и фрагментарную, историю русской культуры. В этой области немало сделал и В. В. Вейдле.

В книге Федотова *Святые древней Руси* наши праведники и мученики показаны на историческом фоне, но, вместе с тем в них просвечивает вечное. Святые святостились на свой лад. У прп. Феодосия пещерского предельное смирение, кенозис, аскеза, но и деятельная любовь к ближним. Еще: трудовое пустынножитие прп. Сергия Радонежского, который не мог только молиться, как египетские аскеты, питавшиеся акридами и кореньями. На Руси холодно: надо было работать топором, рубить избу, заготавливать дрова.

Замечательны работы Федотова о митрополите Филиппе Московском, о новгородской демократии, о песнях духовных, о Русском человеке и мн. др. Уже после смерти Г. П. некоторые из его очерков были помещены в сборниках *Новый Град* (1952), *Христианизм в революции* (1957), *Лицо России* (1967) с биографическим очерком его покойной жены Е. Н. Федотовой, которая составила и библиографию его сочинений. На английском языке: два тома *The Russian Religious Mind* и комментированная антология *A Treasury of Russian Spirituality*. Все его работы исторически обоснованы, подтверждаются академическими изысканиями. Вместе с тем, Г. П. всегда отмечал то, что по его убеждению, пригодилось бы для будущего строительства. Он не насиловал, не стилизовал исторический материал, как это иногда делали Хомяков, К. Леонтьев или Бердяев. Славянофилы зачастую идеализировали Московскую Русь, К. Леонтьев всюду искал византийские влияния. Бердяев в книге *Русская идея* ориентировался на апокалиптиков и нигилистов (но не в других своих работах). Федотов стремился услышать в документах, в памятниках голоса истории. При этом, не искажая фактов и не отбирая их искусственно, он подчеркивал в прошлом то, что могло бы пригодиться для настоящего и для будущего. Замечателен очерк, написанный в драматической форме, с прологами и в пяти действиях, *Трагедия интеллигенции*.

"Говоря простым языком", пишет Федотов, "русская интеллигенция" идейна и беспочвенна. Это ее исчерпывающие определения". Это особый тип или феномен — чисто русский, и распространившийся с эпохи Белинского, хотя намечавшийся и прежде.

Идейность: плюс. Идеи интеллигента крайне радикальные, революционные, но не всегда атеистические. Достоевский тоже интеллигент, но его радикализм христианский. К. Леонтьев — редкий тип реакционного интеллигента и, добавлю, революционера по темпераменту.

Беспочвенность: минус. Беспочвенно трагическое непонимание народа, например, в народничестве разных типов, у славянофила Хомякова или западника Герцена, а также у многих других, включая Достоевского, Толстого. Беспочвенна идеализация общины, как потенциальной социалистической или христианской коммуны. Между тем, община эксплуатировала крестьян, поработала их, что с разных точек зрения обнаружили марксисты и Столыпин... Отмечу: в литературе настоящие невыдуманные крестьяне появились, может быть, только в рассказе Чехова Мужики и во многих рассказах Бунина...

Г. П. сознавал, что социально, психологически, он сам прежде всего, русский интеллигент. У него было классическое для большинства русской интеллигенции недоверие к империи, недоверие, которого не было у Пушкина, что он и отметил в изумительном по проникновению очерке *Певец империи и свободы*. Вспоминаю, — Г. П. как-то смущало, что его отец был крупный чиновник, правитель дел при губернаторе, а любимый дед — отставной полицмейстер... Еще в юности, в революционном Пятом году, Г. П. вступил в социал-демократическую партию и сочувствовал ее левому крылу. Он был марксистом, как до него Бердяев, Булгаков, П. Б. Струве, которые потом, как и Г. П. порвали с марксизмом и резко осудили восторжествовавший в Семнадцатом году большевизм. Его арестовали и ему грозила ссылка, которая была заменена высылкой за границу. В 1907—8 гг. Г. П. учился в Иене. По возвращении в Петербург, он поступает на историко-филологический факультет, становится деятельным участником семинаров И. М. Гревса и изучает средневековую историю Запада. В те же годы Г. П. увлекается поэзией, в особенности Блоком, который был для него не одним из поэтов, а почти единственным Поэтом... Позднее он посвятил ему очерк, и, при всем своем увлечении им, критический (*На поле Куликовом*).

У Г. П. были черты романтика-борца. Он говорил: почему смерть должна быть непостоянной, мирной, как о том молится дьякон, читая ектенью? — Лучше умереть на баррикадах или же просто в канаве...

Федотов, как и полагалось интеллигенту, был идейный человек. Был ли он беспочвенным? Если и был, то в юности. После революции Г. П. и его друзья обрели почву. Почвой стало христианство. Обращение было духовным событием и произошло 20-го ноября, кажется, 1919 г. Так, в канун праздника Введения во Храм Богородицы, образовалось братство *Христос и свобода*. В те же годы Г. П. редактировал подпольный христианский журнал *Свободные голоса*. Позднее, вероятно, в 1923 г., он и некоторые другие члены этого христианского, но еще внецерковного братства, окончательно вошли в Церковь и причастились Св. Даров.

В 1920—22 гг. Федотов занимал кафедру истории средних веков в родном Саратове. Отрицая всякие уступки и всякий сговор с советской властью, он отказался от преподавания, переселился в Петроград, где издал монографию о Абельяре и занимался переводами. В 1925 г. Г. П. удалось уехать за границу, и в Россию он уже не вернулся. В Париже он назначается профессором Богословского Института и принимает деятельное участие в съездах и в работах Русского Студенческого Христианского Движения. А более подробные биографические данные читатель найдет в очерке Е. Н. Федотовой.

Обратившись в христианство и вернувшись в Церковь, Федотов сохранил свой прежний радикализм. С 1923 г. по 1939 г., он вместе с близкими друзьями издает журнал *Новый Град*. Эти друзья — мать Мария, которая до революции, под именем Кузьминой-Караваевой, выпустила сборник стихов *Скифские черепки*, и И. И. Бунаков-Фондаминский, в

прошлом активный эсер. В одной из передовиц Г. П. писал: "Историческому христианству случалось погрешать против социальной правды, но осуществление христианской правды возможно лишь в христианстве". Социальной неправды, утверждал в те годы Федотов, больше всего в тоталитарных странах, в гитлеровской Германии и в сталинской России, но есть она и на Западе. Замечу: социальную несправедливость, не осуждаемую Церковью, он видел в Испании, и поэтому, во время испанской гражданской войны, готов был даже оправдать неистовую Пассионарию. За это его укоряли в православных церковных и академических кругах. Но, прежде всего, он осуждал и клеймил нацизм и большевизм.

Группа **Новый Град** не была партией или даже организацией. Как и объединение **Христос и Свобода** — это было братство друзей-исповедников. В годы войны Мать Марию и И. И. Фондаминского-Бунакова согнали нацисты, а Федотов в 1941 г. переселился в США.

Новый Град не христианская утопия. **Новый Град** — попытка, наметка той русской христианской культуры, которая жила в России почти тысячу лет, но которая задерживалась татарами, нарушалась, начиная с Петра, и была почти уничтожена большевиками.

Строить такую культуру в условиях эмиграции было невозможно, но только на Западе можно было ее свободно обсуждать. Как именно? В упомянутой выше передовице Федотов писал: **Новый Град** нужно строить из старых камней, но по новым зодческим планам. В своих очерках по истории русской культуры Г. П. искал и находил эти старые камни, которые могли бы быть использованы для нового строительства. Это святыне древней Руси, это и Пушкин, это также многое другое, включая и социальный радикализм русской интеллигенции, пусть и беспочвенной, но честной, сочувливой, жертвенной.

Я уже говорил, что кое в чем Бердяев был прав в книге *Русская идея*. Но эта его *Русская идея* непригодна для живого конкретного строительства в истории. Апокалиптики и нигилисты не строители. С ними дела не сварить...

Да, смерть и даже гибель всего мира может произойти в любой момент. А время соседствует с вечностью. Эсхатологию нельзя откинуть. Но следует ли из этого, что не нужно убирать комнаты, не нужно строить дома и храмы, не нужно писать картины и стихи? Следует ли из этого, что нужно только молиться и больше ничем не заниматься? Или же: нужно устраивать пир во время чумы и даже помогать уничтожению, убыстряя гибель, как говорят некоторые нигилисты?

Г. П. говорил всему этому: нет! Для него христианин: верующий, причащающийся, молящийся, но и трудящийся человек. У Бердяева *Русская идея*, а очерки Федотова о России я озаглавил бы *Русское Дело*, которое еще не делается, и может только намечаться.

Мы знаем, вопреки всем трудностям, книги из нашего мира все же доходят до русского читателя. Мы слышали об интересе там к Бердяеву, Булгакову. Я очень хотел бы, чтобы в России лучше ознакомились с трудами Федотова, хотя бы с этими книгами: *Святые древней Руси*, *Новый Град*, *Христианин в революции*, *Лицо России*. Был бы очень плодотворен семинар по Федотову в России. Апокалиптических или нигилистических тенденций там как будто нет. Федотов мог бы стать новым властителем дум, наставником-вдохновителем будущих строителей православного Нового Града в России, новой христианской культуры всемирного значения.

Культура. Одно из ее определений: это сокровищница духовных ценностей, навыков — философия, искусство, наука. Еще: образ жизни. Многие духовные ценности созерцаются. Но культура создается не для созерцания. Культура учит мыслить, образовывает человека. Культура — школа и, по-моему, это лучшее ее определение.

Пушкин нас всех радует. Не знаю, делаемся ли мы лучше, читая

Пушкина. Добрее. Но явно: Евгений Онегин обогащает русского человека радостью, и с этой радостью легче жить, легче трудиться. Эта радость нудит к лучшему, вдохновляет. В этом смысле, Пушкин, всякая вообще настоящая поэзия — школа, которая не только дает знания, но и раскрывает радости творчества и радости в творении.

Россия Федотова: Россия святых, Россия Пушкина, Россия православной веры и социальной правды. Трудно найти другого лучшего учителя современной молодежи в России.

Россия дала миру святых и гениев, но живой прочной культуры не создала. Надеемся: создаст. Создаст школу мысли, понимания и вдохновенного труда. Может быть, Россия опять отпразднует Введение во храм Богородицы и русского человека. Совершится обращение, которое интеллигент Федотов пережил в годы гражданской войны.

Православие свидетельствовало о Спасителе и об истине Богочеловека, и иногда свидетельствовало чище, крепче, чем Римская Церковь. Но Рим был активнее. Западное христианство было деятельнее русского, дисциплинированное, и создало культуру, которая выдержала испытания ересей и, надеемся, выйдет и из современного кризиса. Россия еще может создать свою культуру, свою школу для всего мира, не марксистскую (или лжемарксистскую), а православную. Православная церковь — вселенская, и ее лучшей опорой могла бы быть свободная Россия.

Замечу, Федотов часто резко обличал не только СССР, но и самую Россию, как в настоящем, так и в прошлом, и некоторые его филиппики против русского рабского сознания, были использованы врагами России. Но эти его филиппики — иеремиады. Иеремия и другие пророки Ветхого Завета жестоко обличали Израиль из любви к Израилю. Так и Федотов обличал Россию, любя ее.

Федотов был противником т. н. русского мессианизма, ярко выраженного у Достоевского, Бердяева или у Блока, Белого. Его русское дело — христианское, творческое, но без претензий и иллюзий. Повторяю, его Новый Град — не утопия, а культура, школа, достойная человека и христианина.

Все же, стоит ли городить огород культуры-школы? Здесь я опять возвращаюсь к очерку Федотова Эсхатология и Культура. В этом очерке он выдвигает замечательную христианскую гипотезу:

"Небесный Иерусалим (обещанный в Откровении Св. Иоанна. — Ю. И.), спускающийся на землю и завершающий страдания мира, мыслится не только Божиим даром, но отчасти и человеческим созданием. Точнее, делом богочеловеческим. В нем возвращаются, воскресшие и преображенные, плоды всех человеческих усилий, творческих подвигов, которые были погублены трагедией смертного времени. Ничто подлинно ценное в этом мире не пропадает. Культура воскреснет, подобно истлевшему телу, во славе. Тогда все наши фрагментарные достижения, все приближенные истины, все несовершенные удачи найдут свое место, как камни, в стенах вечного Града. Эта мысль примиряет с трагедией во времени и может вдохновить на подвиг, не только личный, но и социальный". Не значит ли это, что в Новом Иерусалиме мы найдем, узнаем всё то, что было на земле достойное рая, хотя бы Айю Софию, но, может быть и Акрополь, Пушкина и многое другое?

Не знаю, насколько оригинальна эта христианская гипотеза Федотова. Так или иначе, по-моему, трудно найти другую лучшую обнадеживающую апологию христианской культуры-школы, которая, может быть, включает и нехристианские духовные ценности и сокровища. Отмечу, что здесь, при всех различиях, Федотов кое в чем сходится с Бердяевым, который писал о спасении через творчество и о творении человеком принципиально нового, "т. е. нового даже для Бога" (и об этом Г. П. сочувственно упоминает в своем очерке-некрологе о Бердяеве в сб-ке Новый Град). Это новое: будь то храмы или стихи, может быть

обогатит взыскуемый Новый Иерусалим, спускающийся с неба на землю...

Я часто встречался с Г. П. в последние два года его жизни. Был он хрупкий, слабый: его душила грудная жаба. Но сохранил он силу духа. Осталась и страстность, как в увлечениях, так и в отталкиваниях. Не был он прохладный человек: был или горяч или (реже) холоден.

Г. П. изумительно читал стихотворение Блока Шаги командора (о гибели Дон Жуана): Тяжкий плотный занавес у входа... Эти строки он произносил, задыхаясь:

Дева Света! Где ты, донна Анна?

Анна! Анна! — Тишина.

Вижу и другого Г. П.: мирно беседующего, весело шутящего. Как-то, на даче, в Сиклиффе, под Нью-Йорком, он раскрыл Гоголя, и прочел несколько строк из *Женитьбы*, и уже не мог остановиться пока не закончил чтение комедии. На сцене даже лучшие актеры играют Гоголя как-то бесстыдно смачно, будто облизываясь, и они могли бы поучиться легкому ненавязчивому чтению Г. П., с едва заметными лукавыми паузами в комических фразах!

Каждое воскресенье Г. П. ходил к обедне, и иногда в протестантские церкви, но причащался только в православных.

Сколько было грусти в его небольших синих глазах. Тут же особенную, казалось бы беспричинную грусть, я видел в серых глазах недавно умершего Г. В. Адамовича. Они недолюбливали друг друга, но были люди той же эпохи, последние романтики. Жило в них тайное страстное стремление обрести истинное бытие. При всей любви к жизни, они отталкивались от всякого бывания, от обывательщины и обыденщины. Это не фраза, не только красивые слова: они на самом деле тосковали по вечности. Но Адамович культуре не доверял, а Федотова вдохновляло творческое строительство. Он не изменял вечному во имя земного, но — а бывает и такая измена — не изменял земному во имя вечности. Чистая духовность, крайний спиритуализм платоников и христианских нео-платоников его не соблазнял. Платонизм ведь несовместим с истиной Богочеловечества...

Многие еще помнят Г. П. и в Париже, и в Нью-Йорке, где он читал публичные лекции в зале епископальной церкви на Ист. Устроителем этих лекций был покойный Г. И. Новицкий, приглашавший и других лекторов: отца Георгия Флоровского, помнится, и Н. О. Лосского, Е. Спекторского, Н. С. Арсеньева. Немало было у Г. П. преданных учеников — студентов Св. Владимирской и Св. Сергиевской академий. Будут у него читатели-друзья и в России. Может быть, они у него уже есть. Я хотел бы подарить его книги Солженицыну. Шаламову или ленинградским поэтам...

Если культура есть школа мысли, а также школа, воспитывающая наше сердце, то Георгий Петрович Федотов остается незаменимым учителем этой христианской русской школы, нераздельно связанной для него с православием.

Амхерст, Массачусеттс

О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. В Московском дворце	7
ГЛАВА II. Соловки	25
ГЛАВА III. Царь и святитель	48
1. Св. Филипп-митрополит	48
2. Опричнина.....	61
3. Подвиг св. Филиппа	70
4. Православное царство.....	85
ГЛАВА IV. Прославление св. Филиппа	96
ЭКСКУРС. Опричнина в оценке новейших историков	103
ПРИЛОЖЕНИЕ. Грамоты митрополита Филиппа в Соловки	111
ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИЯ	113
ДОПОЛНЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА	115
В. Н. Ильин. Святой Филипп митрополит Московский	116
Ю. Иваск. Молчание (памяти Георгия Петровича Федотова).....	117
Ю. Иваск. Эсхатология и культура. Памяти Георгия Петровича Федотова (1886—1951).....	120

Георгий Петрович Федотов
Святой Филипп Митрополит Московский
Технический редактор А. П. Пильщиков
Корректор В. А. Давлетова
ISBN-5-87382-001-5

Подписано к печати 08.10.91 г. формат 84×108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура "Таймс". Уч.-изд. л. 7,05. Усл. п. л. 6,72. Заказ 377. Тираж 50 000 экз.

© МП "СТРИЖЕВ — ЦЕНТР", 1991 г.

Набрано в малом инновационном предприятии по оказанию полиграфических услуг "Ин-фолио".

Отпечатано и изготовлено в Московской типографии № 13.
107005, г. Москва, Денисовский пер., 30.

